

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Упразднённый театр



IM WERDEN VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003

Текст печатается по изданию: Булат Окуджава. Упраздненный театр. Семейная хроника.
Издательский дом Русакова, Москва, 1995.

OCR и вычитка: Александр Белоусенко, 2002
© «Im Werden Verlag». Составление и оформление. 2003
<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

В середине прошлого века Павел Перемушев, отслужив солдатиком свои двадцать пять лет, появился в Грузии, в Кутаисе, получил участок земли за службу, построил дом и принялся портняжить. Кто он был — то ли исконный русак, то ли мордвин, то ли еврей из кантонистов — сведений не сохранилось, дагерротипов тоже. Зато женился на кроткой Саломее Медзмариашвили и родил трех дочерей: Макрину, Феодосию и Елизавету. Все они были худощавые, сероглазые, работающие — видимо, в него. Макрина вышла замуж за Максима Киквадзе, средняя, Феодосия, — за Епифана Георгадзе, старшая, Елизавета, — за Степана Окуджава. И родились у них дети: у Макрины — Георгий (Гоги) и Василий, у Феодосии — Григорий, а у Елизаветы, у бабушки Лизы, — Владимир, Михаил, Александр, Николай, Ольга, Мария, Шалва и Василий. Этого Василия прозвали белым в отличие от черного — сына Макрины. Макрина с Максимом поселились в Батуме, Феодосия с Епифаном в Тифлисе, а Елизавета со Степаном так и остались в доме Павла Перемужева в Кутаисе.

Пусть вас не смущает обилие имен. Они, по всей вероятности, больше не возникнут, кроме Лизы, Степана и их детей.

Степан был невысок, неширок, но ладен и даже изящен. Жесткая шевелюра, украшенная слишком ранней сединой, зачесана набочок. На первый взгляд он казался сосредоточенным и угрюмым, но тут же стиснутые губы расползались в счастливой улыбке, а брови высоко взлетали, а за этим приоткрывалась неведомая бездна затаенного темперамента и даже страсти, однако в глазах при этом не исчезала тоска, уравнивающая эти несовместимые дары природы.

Он любил Лизу и своих детей, но тоска в глазах не унималась, даже когда он пил в кругу друзей, даже когда он пел приятным баритоном, даже когда расточал сокровенные нашептывания жене, детям, этому дому и своей судьбе.

Елизавета стирала, стирала самозабвенно и жертвенно, почти с отчаянием. Ее хрупкие, тонкие, молодые руки ворошили такие груды чужого белья, что хватало бы на целую прачечную.

А он был грамотен настолько, что легко, играючи выводил не только витиеватые картвельские письма, но с не меньшей легкостью орудовал и кириллицей, и не было мастера виртуознее для составления, к примеру, изощренных посланий в губернскую канцелярию, или в суд, или даже в Санкт-Петербург по просьбе любого кутаисского жителя, мало осведомленного в русском языке, а тем более в канцелярских изысках. Вот таким он и был — этот вольный стряпчий конца девятнадцатого века, отец многочисленных отпрысков, муж старательной сероглазой кутаисской прачки. Мой грузинский дед.

И вот он поднимался по утрам, завтракал кусочком чади* с сыром, долго таскал ведрами воду, чтобы наполнить громадную дубовую бочку для Лизы; затем тщательно брился, надевал единственный серый полусюртук, черный галстук, долго до блеска начищал штиблеты, водружал на голову шляпу и медленно шествовал к базару, с достоинством отвечая на поклоны прохожих кутаисцев, шел и раскланивался по сторонам, и улыбался. На кутаисском базаре среди непроходимых холмов из зелени и овощей ему очищали заветное пространство на деревянном прилавке, и уже кем-то были приготовлены чернила, перья и бумага; и одинокие просители сходились в терпеливую очередь, и откуда-то появлялся расшатанный табурет.

* Кукурузная лепешка.



Бабушка Лиза

Он выслушивал просителя, переводил его жалобы и просьбы на русский, и на белом листе неторопливо возникали многозначительные, душераздирающие, горькие и лукавые откровения ныне живущих и страждущих в адрес ныне же живущих и начальствующих: «Милостивый государь...», или «Ваше благородие, господин...», или «Ваше превосходительство...», и даже «Ваше высокопревосходительство...» И люди вокруг благоговейно молчали, следя за обстоятельной рысью пера, оживляющего их сокровенные надежды.

Плата за труд была общеизвестна и доступна. Серебро звенело о прилавок, и смятые рубли ложились рядом. Так проходила первая половина дня. Очередь страждущих постепенно рассасывалась. Он сгребал заработанное и отправлялся бродить меж базарными рядами. С достоинством плыла его потускневшая шляпа на фоне багровых туш и гор сыра, и арбузов, и пепельных чурчел. Он склонялся над бочками с кудрявым джонджоли и едкой цицакой. Он задумчиво перебирал сухощавыми писарскими пальцами прохладные камешки рябоватого лобии и дышал ароматом сунели.

Постепенно наполнялась матерчатая домашняя сумка, и обход рядов завершался, как обычно, у тесной невыразительной, но знаменитой хлебной лавки, где из прокопченной, пышущей жаром торни* слетались к нему хрустящие пури**. А тут уж было рукой подать и до тесного и обжитого базарного трактирчика, где его уже ждали многолетние приятели воон за тем столом, стоящим как-то боком к входным дверям и потому привычным почти как дом, как небо и судьба... Он вешал сумку, переполненную базарной снедью, на ржавый гвоздик, многие годы торчащий из деревянной стены, и все начиналось с обычного легкого розового имеретинского, которое пило вдохновенно, соответственно произносимым изречениям и полумраку, озаренному пожилой керосиновой лампой. И чем стремительней надвигались южные сумерки, чем с большим шипением трудилась и подмигивала лампа, чем искаженней казался силуэт порхающего полового, тем счастливее была улыбка на губах Степана, но тем гуще и непреодолимее разливалась тоска в его глазах. Он не задумывался над ее природой. И даже если встречался друг и спрашивал о причине его тоски, он не знал, что ответить.

Да и что было отвечать? Пока он был трезв и работал, размещая по бумаге привычные словосочетания, он думал о Лизе, и ему было жаль ее ручек, и он думал о своих детях: о старшем сыне Владимире, бежавшем неизвестно куда после неудавшегося покушения на кутаисского губернатора, в котором он принимал участие как молодой и неистовый анархист. Где он теперь? Никто не знал. Сведущие люди шептали о Швейцарии. Какая Швейцария, кацо?! Кому он там нужен, в этой Швейцарии? Что он мог там делать, едва окончивший гимназию? Может быть, пьет там швейцарское вино в компании молодых бородатых преступников? Еще он думал о Михаиле, мягком и надежном в быту, о Саше, легкомысленном и пылком гвардейском поручике; и о Коле, несдержанном и насмешливом; и о пронизательной и участливой Оле; и о Мане — краснощекой хохотушке; и о маленьком Шалико, доверчивом и самолюбивом; и о совсем маленьком Васе с серыми материнскими глазами и с большим отцовским носом...

Кстати, о носе. Он у Степана господствовал над остальными частями лица и даже привлекал внимание, хотя, может быть, не столько величиной, сколько многозначительной направленностью и загадочной целеустремленностью. По той местности и по тем временам размеры эти были почти привычны, но все-таки некоторая его исключительность не могла не запоминаться. Видимо, этот родовой признак знаменовал силу крови, основательность бытия,

* Круглая глубокая печь.

** Грузинский хлеб.



Степан Окуджава

приверженность к земным обстоятельствам. Эта сила воцарилась почти во всех детях, что Степан да и Лиза отмечали со смехом, щелкая отпрыскам по крепеньким и вполне выдающимся носам, ну кроме, пожалуй, Оли и Шалико. Правда, по прошествии многих лет у дальних потомков она постепенно ослабла и потускнела, хотя и не совсем, и даже в четвертом поколении еще и нынче заметны ее красноречивые следы.

И вот, пока Степан был трезв, он думал о семье, о доме, об утреннем пробуждении, о звуке горячей воды, льющейся в корыто где-нибудь в дворовой тени... Но когда легкое имеретинское проникало во все поры и начинало пощипывать изнутри, жечь и распалять, да еще к нему примешивался нестройный хор привычных, но обольстительных сентенций и песнопений, вот тогда он постепенно начинал думать о себе, о том, как совсем недавно еще был маленьким, а теперь уже почти стар, весь пронизанный сединой и нарожавший столько детей, и как это все быстро и неудержимо. Гмерто, Боже ты мой!.. И это все? И если даже там будет вечное и беспечальное житье, но ведь не будет уже всего этого: ни Лизы, ни детей,

ни этого стола, ни этой закопченной керосиновой родственницы, ни этих лиц, одутловатых, побагровевших, но счастливых и умиротворенных! Как быстро! «Степан, — кричали ему, — выше голову, брат!» И он улыбался, и слезы посверкивали в его глазах.

Затем все медленно и неуклюже подымались со своих мест, грохоча стульями и табуретками, и долго прощались. И Степан уходил, не позабыв снять с кривого гвоздя свою старую ароматную сумку. Он шел к дому сквозь сумерки, слегка покачиваясь, но очень заботясь о том, чтобы ступать твердо и выглядеть пристойно. Он проходил сквозь свой дворик, продираясь через сырые стены развешенных прохладных простынь и прочего стираного чужого белья и входил в свой дом. Маленькие теплые крепкие руки Лизы обнимали его, усаживали на стул, и она говорила ему с торопливым и искренним участием: «Как ты хорошо выглядишь! Подумать только, просто замечательно!..» Он с трудом подходил к зеркалу, долго, горестно мыча, разглядывал себя, затем жаловался: «Знаешь, Лизико... я все соображаю... но рожа у меня такая пьяная... и мне стыдно, Лизико, дети... Я понимаю, что выгляжу смешным и жалким... вот что ужасно!..» — «Нет, нет, — говорила она, тихо смеясь и подмигивая детям, — ты выглядишь очень хорошо. Давай, я тебе помогу. А ты ложись, давай, давай, вот так, генацвале...»

Он спал, сладко выпятив губы, но в воздухе империи что-то происходило, что-то совершалось уже многие годы, неостановимое и непредсказуемое. Дыхание каких-то зловещих ветров овевало и спящих и бодрствующих, насылая неведомые доселе тревоги, возбуждение и дрожь. И это особенно воспринималось молодыми, независимо от выражения их глаз, цвета крови и местожительства. Конечно, степень восприимчивости у каждого из них была своя, и, конечно, многое определялось, как это говорится, жаром души и сердца, но не всегда, не всегда, ибо и холодные головы, бывало, подвергались воздействию этого ветра. Это напоминало эпидемию; в разных домах, в разных пространствах внезапно вспыхивал этот недуг, и, охваченные им, они выбивались из толпы и находили друг друга. Степан спал, выпятив губы, но это вовсе не означало, что ночью и днем, когда он счастливо улыбался, его не обременяли тревожные предчувствия каких-то печальных перемен.

Вот и старший, Володя, задетый этим недугом переустройства, отсиживается теперь в какой-то Швейцарии. И Миша, произнося проникновенные слова отцу и матери, таит в душе, оказывается, некие неведомые для государства каверзы, о которых перешептывается наедине

с Колей. Да, с Колей... И Оля, представьте, худенькая, большеглазая, склонная к романтическим фантазиям, начинает поддакивать братьям. И тут же они, ну это уж совсем необъяснимо, осуждают старшего брата за его анархические пристрастия... «Не надо, не надо, — вспыхивает в серых глазах Лизы, ворочающей груды чужого грязного белья на кутаисском дворике, — не надо, дети!..» Она шепчет это и гладит их, словно маленьких, по головкам, глядя в сутулые спины жандармов после очередного ночного обыска, жалея детей, свой дом, плачущего хмельного Степана. А ведь она говорила раньше Володе, а после Мише, Коле, а потом — Оле, а потом — Шалико: «Сирцхвили*... Что скажут люди?..» А они возвращались из гимназии, награжденные за блистательные успехи, и принимались за свое. И не было сил остановить эту таинственную хворь, эту счастливую бунтарскую лихорадку.

Вот только Саша оказывался в стороне от остальных братьев. Пренебрегая политическими их пристрастиями, пил в Поти кахетинское как истинный гвардеец в кругу избранников военной фортуны и пел «Мравалжамиер»** или российские военные песнопения; или, защищая воинскую честь, стрелялся с обидчиком в глухих потийских закоулках, и снова пил, и клялся в верности престолу!

Никому из простых смертных не дано разглядеть изощренные рисунки грядущего и того, что дорожки, кажущиеся параллельными, сходятся, сходятся, и в скором времени им суждено пересечься — со скрежетом, стенаниями и кровью. Никто не знал этого, равно как не знал и того, кто омоет ноги в роковом потоке и — почему.

Как будто жизнь была пространством, просматриваемым из окна. За углом таилась неизвестность. Она была главным будущим, которое они создавали, не покладая рук, так же, как и мы его создаем — не по распоряжению начальства, а по своей фантастической природе, по своему муравьиному вдохновению, по своей пчелиной неукротимости. Какая слепая программа заложена в нас с рождения?.. И нет нам отдыха...

2

Много лет спустя, а точнее уже в двадцать четвертом году, возник внук Степана Окуджава — по официальным документам Отар, по самоощущению Иван Иванович, в быту же по малолетству бывший просто Ванванчем.

Вам придется несколько напрячься, чтобы осознать все это, но поверьте, что тут нет плодов моей злокозненной прихоти. Все гораздо сложнее и вместе с тем проще, в чем вы со временем сами убедитесь, и, естественно, почувствуете облегчение.

У пятилетнего Ванванча была няня Акулина Ивановна, откуда-то с Тамбовщины. Добрая, толстенькая, круглолицая, голубые глазки со слезой, множество скорбных морщинок в невероятном сочетании с добросердечием, с тихими медовыми интонациями: «Отарик, Отарик, малышечка моя... Да что же это ты, малышечка, расшалился?.. Ай не стыдно? Стыдно? Вот и славно, цветочек... А Боженька-то все видит и думает: что ж это цветочек наш расшалился?.. Во как...»

«Боженька, Боженька», он так и пробубнил, заигравшись, в присутствии мамы. «Это что еще за Боженька?» — И черные брови ее взлетели, и в карих мягких глазах промелькнул взаправдашний гнев, и двадцатишестилетняя большевичка, стараясь быть понятой, объяснила Акулине Ивановне ошибочность ее представлений о мире, в котором уже свершилась революция и нельзя, нельзя, даже преступно, воспитывать новое поколение с помощью старых, отвергнутых, основанных на невежестве понятий. И Акулина Ивановна кивала, вглядывалась в маму голубыми участливыми глазками, а сердце ее разрывалось от жалости к этой молодой, строгой, несчастной, заблудшей, крещеной армянке.

* Стыдно (груз.).

** «Многия лета», грузинская заздравная песня.

Молилась Акулина Ивановна не размахисто, не истово, не показно, а почти про себя, где-нибудь в укромном уголке, щадя, наверное, несурзных безбожников, молодых и непутевых, но тоже сердечных и щедрых, и за них, быть может, просила, чтобы ее деревенский Бог оборотил свой лик и к ним, несмотря ни на что. Белый платок с поблекшим розовым орнаментом она будто бы и не снимала. Во всяком случае, Ивану Иванычу нынче это так помнится. Мамины укоризны не обескураживали Акулину Ивановну, но тихая смущенная улыбка возникала на ее губах, и двигалась няня как-то все бочком, и мама иногда поглядывала на нее с недоумением.



Ванванч,
1927

— Ну, картошина, — говорила Акулина Ивановна Ванванчу, — давай чайком побалуемся...

Чайный нектар распивался обычно в комнатке Насти. На глаз Ванванча, Настя была совсем старуха. Когда ее высоченный, худой, прихрамывающий силуэт возникал в коммунальной кухне, газовая плита начинала гореть холодным строгим пламенем и на лицах присутствующих появлялись черты праведности. В эту квартиру фабриканта Каминского на Арбате она пришла совсем девочкой, но вскоре стала изощренной кухаркой и своим человеком. То ли семья была либеральная, то ли природные достоинства Насти возвышали — не знаю.

Жила она в маленькой комнатухе за кухней. Была у нее железная кровать, столик, полка на стене с вареньями и медом в баночках и икона с лампадкой в углу. Была она строга, немногословна, но Ванванч разгадал однажды за тонкими, сжатыми, бледными губами источник доброты, предназначенный, как ему показалось, только для него одного. Он это знал, обмениваясь с ней изредка тайными многозначительными сигналами.

И вот они сидят за Настиним столиком все трое и дуют в блюдца. Чай заваривается душистый и тягучий. И струйка его льется в чашку со звоном, и Ванванч старается держать блюдце на растопыренных пальцах, и пыхтит, подражая старухам, и утирает со лба воображаемый пот.

— Ну, картошина, каково пьется-то?

Это странное прозвище выплеснулось у Акулины Ивановны после того, как она вдруг обнаружила, что его нос напоминает маленькую картофелину. «Махонька така картошина... Что за картошина така? Қаартошинка...»

Старухи сидят на табуретках, а Ванванч по традиции на Настиней кровати и болтает ножками. О чем они разговаривают, тихо и обстоятельно, ему непонятно, да и не нужно. У него свои мысли и страсти. Он пока не видит разницы между фабрикантами и рабочими, между кулаками и батраками, между умными и глупыми, но тьма и свет, зима и лето, доброта и жестокосердие распознаются им с безукоризненной точностью, с врожденным детским профессионализмом.

...Настю нынче понапрасну не тревожат: она хворает, все больше полеживает у себя. Ванванч знает, что Настя больна, иногда украдкой приоткрывает ее дверь и видит: вот она лежит на кровати под большим старым клетчатом и подмигивает ему.

— Ну, картошина, гулять пойдем, — Акулина Ивановна помогает ему одеться. Они долго сопят и топчутся в полутемном коридоре коммунальной арбатской квартиры, ибо встреча с январским двором — дело нешуточное, а поэтому — стеганные одежки и шапки-ушанки, и варежки, и шарфик, и валенки, и старые погнутые саночки — Бог весть, с каких времен.

Пространство арбатского двора было необозримо и привычно. Вместе со всем, что оно вмещало, со стенами домов, окружавших его, с окнами, с помойкой посередине, с тощими деревцами, с ароматами, с арбатским говорком — все это входило в состав крови и не требовало осмысления. Там располагались глубокие сугробы, в которых приятно было тонуть, после чего мягкие горячие пальцы Акулины Ивановны тщательно и долго извлекали снег из-под воротника,

из валенок. «Ох, фулюганчик, ты что же это снегом-то напихалси? Да что же это за баловник такой?!» — И это все звучало как поощрение, он это чувствовал и заглядывал в ее голубые лукавые глазки и тут же спешил зарыться снова в новый сугроб или, свалившись с саночек, закувыркаться с горки...

— Ну, картошина, дождешься... А Он-то видит все...

— Кто? — спрашивал Ванванч, покуда она вытряхивала из него снег.

— Эвон, — кивала она на низкое зимнее небо, — звон, эвон, — чтобы не произнести запретное имя.

Конечно, Ванванч ее любил. Больше было некого. Далекий папа казался нарисованным и неправдоподобным. Призрачная мама появлялась на мгновение, изредка, по вечерам, если он не успел еще уснуть, и, усталая после вдохновенного трудового дня, прижимала его к себе, но все как-то отрешенно, судорожно, из иного мира, продолжая думать о чем-то своем.

— Мамочка, а я сегодня зарылся в снег!

— Да что ты? — рассеянно, с искусственным интересом. — А спать тебе не пора?

— Расскажи мне что-нибудь...

— Вот няня расскажет.

И няня рассказывала. Она брала его пальцы в свою пухлую горячую ладошку, и через эту ладошку в его чистую кровь просачивалось нечто негромкоголосое и пестрое, что снится по ночам, а днем ходит следом, подталкивая под локоток. Она заглядывала при этом в его широко распахнутые кавказские глаза, в которых сладостно расположились и Василиса Премудрая, и Микула, и Аленушка, и ангелы Господни... Пейзажи были тамбовские, а ему представлялся подмосковный клязьминский соснячок. И глупый царь склонялся перед Иваном-дураком.

— Ну спи, малышечка, спи, картошина...

Иногда кто-нибудь привозил мандарины из далекого Тифлиса от папы, где папа сгорал на партийной работе. Акулина Ивановна научилась снимать кожуру с диковинного фрукта и скармливала сочные дольки Ванванчу.

— А вы, няня? — говорила мама. — Попробуйте, пожалуйста.

Акулина Ивановна перекатывала оранжевый ароматный шарик в ладошках, улыбалась и едва-едва покачивала головой в неизменном платочке.

— Пуцай картошина поисть... Экой мандалин! А я и не видывала такого и не слыхивала об ем, ну надо ж!..

— Ну хоть попробуйте, — настаивала мама, — ну, пожалуйста.

Акулина Ивановна вздыхала и поджимала губы.

— Пуцай он исть этот яблочек господский, а мне не хоцца, я лучше чайку попью с сахаром. — И прятала мандарины на дальнюю полку в буфете.

— Не прячьте, еще пришлют, — говорила мама с досадой, — ну хоть угостите кого-нибудь. Тут Акулина Ивановна светлела вся.

— Ну, картошина, кого угощать-то будем? — И лукаво заглядывала Ванванчу в глаза. — Жоржетту, что ль?

Он кивал радостно и мчался за Жоржеттой.

Жоржетте Каминской было шесть лет. Если у Ванванча были темно-русые кудряшки, которые с каждым годом становились темнее и жестче, то у Жоржетты были шелковые локоны, черные как смоль. Эта пятикомнатная коммунальная арбатская квартира когда-то целиком принадлежала Яну Каминскому — владельцу небольшой фабрики по выделке кожи. Владение было обобществлено. Бывший владелец служил там же в качестве экономиста. В собственной квартире ему оставили одну комнату, в которой и устроились покорно и с благодарностью все трое Каминских: сам Ян Адамович, Юзя Юльевна и Жоржетта. Социальный статус пока не волновал ни Ванванча, ни Жоржетту, не подвергался обсуждению и старшими. Даже то, что родителям Ванванча предоставили сразу две комнаты, не вызывало удивления: хозяева! В обеих комнатах располагалась бывшая мебель Каминских, и это тоже воспринималось в порядке вещей. Мама долго не могла открыть красивое настольное бюро из карельской березы, так что

пришлось потревожить рыжеволосую белотелую Юзю Юльевну, которая немедленно явилась и, расточая улыбки, легким, решительным движением пальца распахнула свою бывшую собственность, и ни горечи, ни даже недоумения не было на ее холеном розовом лице.

— Вот так, — сказала она, — алле, прошу сердечно...

Ян Каминский, всегда подтянутый, в безукоризненной тройке, хоть и выглядел в глазах обитателей квартиры весьма буржуазным, не вызывал ни у кого отчуждения и недоброжелательства, кроме, пожалуй, Ирины Семеновны, совсем недавно въехавшей в одну из комнат с великовозрастным сыном Федором. Ее угличская философия, не встречавшая сопротивления, зиждилась на уездных постулатах, по которым все незнакомое объявлялось чуждым и опасным и против чего следовало ну, если не бороться, то по крайней мере протестовать, и если не вслух, то с помощью жестов, пренебрежительной мимики и прочих загадочных инструментов неприязни. Ее раздражал голос Юзи Юльевны. Действительно, это был не самый приятный голос: визгливые нотки преобладали в нем, усугубляя безобидную авторитарность. Каминские говорили между собой по-французски. Эти каркающие, непонятные звуки тоже не радовали Ирину Семеновну, и, когда они начинали звучать на кухне, у нее тотчас что-то не ладилось, ну, допустим, с крышкой от суповой кастрюльки, которая со звоном выпадала из рук, и Ирина Семеновна ее ловила и водружала на место, приговаривая: «У, барыня чертова!.. Я тебе!.. Раззвенелась!», и подмигивала при этом Акулине Ивановне. И если Ян Адамович вечерней порой по какому-нибудь случаю появлялся на кухне с бутылкой шампанского, в своей неизменной тройке и расставлял на столике старорежимные бокалы, и наполнял их, и приглашал широким жестом «всех присутствующих дам» выпить по глоточку в честь, оказывается, именин Юзи Юльевны, или пятнадцатилетия их брака, или по случаю благополучного приезда из далекого Тифлиса папы Ванванча, или в связи с пролетарским праздником Первое мая (мало ли поводов?), — так вот, если он проделывал все это, а гости с шумным одобрением подымали бокалы, Ирина Семеновна растягивала губы в брезгливой улыбочке, опорожняла бокал, приговаривая: «Тьфу, и чего в ей хорошего?», и тотчас покидала кухню.

От Юзи Юльевны пахло парижскими духами.

— Сегодня у меня получились замечательные щи! — произносила она с пафосом, и благоухание щей и запах духов тотчас перемешивались. Она предлагала всем попробовать, так как была невысокого мнения о своих кулинарных способностях. «Я ведь учусь, учусь, — улыбалась она, — конечно, это сложное искусство, но раньше я занималась другими делами, а теперь вот щи... Настя больна».

— Вот уж щи! — восклицала Акулина Ивановна, попробовав. — И травы всякие, ну надо ж!

— Укроп и сельдерей!..

— Ах ты, Господи!..

Тут же ложка, полная щей, тянулась к Ирине Семеновне, но та, натурально, ее отвергала неизменно и обиженно отворачивалась.

— Да вы только попробуйте, дорогая, — смеялась Юзя Юльевна, — вы же мастер, я хочу у вас поучиться...

— Мне это ни к чему, — гордо провозглашала Ирина Семеновна, — мне это не нравится...

— Но почему? Почему? Ну вы хоть попробуйте... — И тут же произносила нечто по-французски оказавшейся рядом Жоржетте, а у Ирины Семеновны тотчас падала на пол крышка от кастрюли, или тряпка, или вилка.

Ванванча и Жоржетты все эти утонченные страсти не касались. Вот они выходят в свой привычный морозный арбатский двор, перед этим долго топчась в прихожей под руками Акулины Ивановны и Юзи Юльевны, наряжаясь в свои одежды и хохоча, и заливаясь, и бубня из-под ловких женских рук что-то свое, при тусклом свете желтой коридорной лампочки.

— Спасибо вам, Акулина Ивановна, хоть Жоржеточка немного погуляет, — говорила Юзя Юльевна, — а то у меня совсем времени нет, — и хлопала пальцем по носу уже во все завернутую дочь.

— Ну мама! — притворно негодовала Жоржетта.

И вот они во дворе. Ванванч катает Жоржетту на санках, затем она катает его. Тут выскакивает из дому сам Каминский в шубе, накинутой на плечи, в каракулевой шапке пирожком и велит им замереть, и фотографирует их — случайный незначительный будничный эпизод, но эта маленькая фотография небольшого размера и крайне любительская до сих пор, вот уже шестьдесят лет, живет у меня и время от времени попадает под руку, уже потускневшая, отдающая желтизной улика из иного времени и иного мира.

Потом они долго сидят в сугробе и с наслаждением промокают, и обстоятельно спорят о политике.

— Раньше, при царе, были частники, — наставляет Ванванч подругу, — теперь приказчики...

— Обалдел? — возражает Жоржетта.

— Давай спросим у няни, — Ванванч пытается выбраться из сугроба.

— Да няня-то деревенская, — смеется Жоржетта, — она Марфушка...

— Она Акулина Ивановна! — протестует Ванванч.

— Ну и что же? — смеется Жоржетта. — Все равно Марфушка.

Недолгое зимнее солнце садится за крыши, дети стреляют вверх сугробов «пиф-паф! пиф-паф!» и кричат «ура!».

Дома Ванванч, еще не успев раздеться, рассказывает, захлебываясь, проходящей по коридору Ирине Семеновне, как они там воевали с Жоржеттой на войне, но та проходит мимо, поджав губы, пока он орет из-под руки Акулины Ивановны: «А мы все равно победили!..»

— Тише, малышечка. Тете Ире не до нас с тобой. А ну сымай поддевичку, сымай, сымай...

Но тут внезапно появляется сам Ян Адамович Каминский, и он спрашивает, заинтересованно тараща глаза:

— Что же это за война была? Кто с кем воевал?

— Красные с белыми, — выпаливает Ванванч.

— Кто же пересилил?

— Да красные же, красные! — хохочет Жоржетта.

— А кто из вас красный, а кто белый?

— Ну, конечно, мы с Жоржеттой красные, — говорит Ванванч, — не белые же.

— Они же не белые, батюшка, — поясняет Акулина Ивановна.

— И Жоржетта красная? — спрашивает Каминский тихо.

— А какая же? — наступает на отца Жоржетта. — Белые ведь буржуи, и мы их всех застрелили!

В комнате Ванванч бросается к маме.

— Мамочка, мы всех белых победили!

— Да что ты?! — поражается она, и брови ее взлетают, но Ванванч видит, что она думает о чем-то другом, постороннем.

Однажды ночью он проснулся от перезвона церковных колоколов. За двойными рамами мартовских окон они гудели и переливались особенно загадочно. В комнате было темно, но с улицы врывалось разноцветное сияние, в котором преобладали желтые, красные и синие тона, и разноцветные пятна вздрагивали и шевелились на стенах. Это было похоже на музыку целого оркестра, а может быть, и на войну, а может быть, было предчувствие чего-то нескорого, грядущего, зловещего, до чего еще надо дожить, как-то докарабкаться, а может быть, это было предостережением на завтрашний день, и только Ванванч был пока еще не в силах увязать это предостережение с появлением в квартире Мартьяна.

Мартьян поселился у Ирины Семеновны. Он к ней приехал из какой-то угличской деревеньки. Маленький, жилистый, в больших валенках, сидел на кухне и дымил самокруктой.

От него пахло кислым хлебом и дымом. Пепел он стряхивал себе под ноги, и Ирина Семеновна покорно за ним подбирала. Он молчал, вздыхал и смотрел на всех входящих с собачьей преданностью.

Акулина Ивановна сказала маме как бы между прочим:

— Эвон и Мартьян в Москву приволочилси... Спасается вроде...

— Что за Мартьян? — как-то слишком строго спросила мама. — Это кто?.. Ах, этот...

Он же кулак, няня. Вы разве не знаете, что мы объявили кулакам войну?

— Он хрестьянин, милая ты моя, — мягко сказала няня, — чего уж воевать-то? Он хлебушек растил и нас кормил, вот-те и война...

Ванванч рисовал в это время пушку. Он прислушался, представил себе тихого Мартьяна на кухне и подумал, что Мартьяна жалко.

— С кулаком, няня, мы социализм не построим, — сказала мама, — он грабитель и кровосос. Вы вот его жалеете, а он бы вас не пожалел...

Пушка у Ванванча выстрелила, и, продолжая линию выстрела, он пририсовал человечка с бородой и криво написал: «кулак».

— Кулак, кулак, — сказала Акулина Ивановна неодобрительно, — а он-то хрестьянин и нас всех кормит. А как же, родимая...

И Ванванч снова пожалел Мартьяна.

— Мамочка, — сказал он неожиданно, — я люблю Мартьяна, он хрестьянин...

— О? — воскликнула мама без всякого интереса.

Остальное осталось для Ванванча за границей понимания.

Пришла в комнату Ирина Семеновна, растеряв остатки своей недавней гордости, теребила пуговицу на кофте и просила маму глухим, капризным голосом:

— Ты у нас начальница, партийная, слышь-ка, не дай старика обидеть.

— Да вы что? — И красивое мамино лицо стало чужим и далеким. — Какая я начальница? Вы что?.. Вы его сами не обижайте, при чем тут я?

— Слышь-ка, ты не дай, не дай. Его кулаком кличут, а нешто он кулак? Этак про любого сказать можно. Кулаки, они знаешь какие? Уууу... А он-то кормилец наш... Глянь на него: вишь тихий какой? Нешто кулаки такие?

— Да при чем тут я? Я на фабрике работаю, — обиделась мама.

— А чего ты, ласточка, к ей причепилась? — спросила няня. — У ей своих забот хватает...

Ирина Семеновна заплакала, и Ванванч заплакал тоже.

Акулина Ивановна вывела соседку из комнаты, бубня ей на ухо успокоительные слова.

— Он кулак, — сказала мама Ванванчу, — а кулаки грабят народ, они коварные и жестокие.

— А как они грабят? — спросил Ванванч, задыхаясь от волнения.

Но мама ничего не ответила и вышла из комнаты. А героическое сердце Ванванча под влиянием различных загадочных процессов тоже увело его в коридор, мимо коммунальной кухни, где сидел на табурете тихий кулак Мартьян, сжимая самокрутку в жилистой ладони. Ванванч пробрался туда, где в темной глубине коридора возле самой двери Ирины Семеновны притулился небольшой мешок из серой холстины, и прикоснулся к нему пальцами. От мешка тяжело пахло Мартьяном, кулацким грабительским духом... Это уже потом, спустя час или два, началась в квартире паника, будто крысы прогрызли мешок. Тонкая струйка белой муки стекала на старый дубовый паркет.

— Да у нас сроду крыс не было, — удивлялась Акулина Ивановна.

— Да кто ж еще-то? — сокрушалась Ирина Семеновна. — Говорила тебе, Мартьян, не кидай мешок у двери!

В это время Ванванч, забыв о собственном подвиге, сидел в комнате напротив Жоржетты, и каждый на своем листке воссоздавал цветными карандашами свой мир революционных грез и пролетарских наслаждений.

— Красивая! — в это же время говорила Акулина Ивановна на кухне, поражаясь ослепительно белому кудрявому кочану цветной капусты, который Юзя Юльевна похлопывала по бочкам, прежде чем опустить в кипящую воду. — А вы ее так и варить будете, не порезамши? Ну надо ж, ровно цветок какой!

Пока что аромат духов заглушал в кухне все остальные.

— Вот так, — говорит Юзя Юльевна, выглядывая из-под рыжих своих кудряшек, — затем вот так... Вы глядите, Акулина Ивановна, глядите, потом и сами Отарику сварите такое...

— Да рази ж я смогу? — лукавит Акулина Ивановна. — Это ваше господское умение, а я ни в жисть не смогу.

— Да что ж тут мочь-то! — удивляется Юзя Юльевна и опускает кочан в кипящую воду. — Оп-ля! Теперь подождем. — Она уходит в комнату, возвращается и потирает розовые руки. А Акулина Ивановна заглядывает в кастрюлю. Губы ее вытянуты по-ученически, и голубые глазки прищурены, чтобы запомнить все и не прозевать главного. — Теперь мы посолим водичку, — улыбается Юзя Юльевна, — вот так. А теперь мы приготовим сухарики. Белые, Акулина Ивановна, только белые и только хорошо подрумяненные... Мы их в ступочку, вот так, и побьем, побьем, оп-ля... — ступка сияет золотым сиянием. Капуста варится. Сухари крошатся. — Теперь мы на эту конфорку поставим маленькую кастрюлечку и положим в нее маслице, вот так... Уууу, оно уже начало таять! Видите?

— Ага, — говорит зачарованная Акулина Ивановна.

— Теперь сухарики опрокинем в масло, вот так... Теперь фине!.. Получилась у нас сухарная подливочка... О! А вот и капуста готова!

Меркнет аромат французских духов, вытесненный благоуханием нового блюда. Юзя Юльевна отрезала ломоть капусты, плюхнула его на блюдце, залила сверху сухарной подливкой, светло-коричневой, дымящейся.

— Прошу, — и протянула Акулине Ивановне.

— Да что вы! — Акулина Ивановна отпрянула, застеснялась, но все-таки вилкой отломил хрупкий кусочек и пожевала. Проглотив яство, сказала, закатывая голубые глазки: — Ох ты, Господи, хорошо-то как! Век бы ела!..

— Да вы ешьте, ешьте...

— Не, картошине снесу, — и понесла блюдце торжественной походкой.

Вдруг случилось, что Настя чувствовала себя лучше, и тогда ее неторопливая тень привычно склонялась над столиком в кухне, и все становилось на свои места, словно от ее худых, длинных пальцев только и зависела коммунальная жизнь, когда они мяли тесто или подносили деревянную ложку к бледным губам, и пахло сытной гречневой рассыпушкой, сельдереем или ванилью, и Юзя Юльевна, избавленная от будничных хлопот, напевала в своей комнате по-французски. Жоржетта на табурете раскатывала свой маленький кусочек теста, пытаясь слепить пирожок, и, подражая Насте, тыльной стороной ладошки стирала со лба мнимый пот и точно так же молчала, поджимая пухлые губки, и краснела при очередной неудаче.

— Ну, Настасья, ловка, — говорила восхищенная Акулина Ивановна, — ну ловка...

Ночью Ванванч не проснулся, когда во входную дверь резко позвонили. Было часа два. Он спал благополучно в гуще наивных сновидений, из которых не все, правда, знаменовали удачи, но сюжеты были привычны и, если даже вызывали тягостные сердцебиения, то лишь на один миг, чтобы затем смениться счастливым исцеляющим порханием над предметами или лицезрением маминого лица, ее теперь уже заинтересованных, любящих миндалевидных глаз. И, не пробуждаясь, он ощущал теплое спасительное прикосновение няниных ладоней, а впрочем, они, может быть, тоже лишь снились.

Он спал, почмокивая губами, а в квартиру вошел заспанный управдом Печкин и с ним еще двое. Один пожилой с отвислыми усами, другой молодой с окаменевшим лицом. Двери им открыл Каминский в неизменной своей тройке, при галстукке, будто и не ложился.

— Остальных подымать? — спросил Печкин. — Или пусть спят?

— Я вам кого назвал? — устало и неприязненно прошипел пожилой усатый.

— Каминского...

— Ну?

— Я Каминский, — улыбнулся Ян Адамович и протянул руку.

Пожилой руки не подал, вытащил из кармана листок и сказал, словно самому себе:

— Гражданин Каминский, будем производить изъятие...

— Вот как? — удивился Ян Адамович. — Это интересно, прошу. — Жест был такой, будто он приглашал дорогих гостей к столу, уже накрытому, праздничному, истомившемуся, с хрусталем, с тяжелыми блюдами, приминающими крахмальную скатерть. Юзя Юльевна уже стояла в распахнутых дверях свежая, розовая, гостеприимно улыбаясь из-под рыжих кудряшек.

— Моя жена, — сказал Каминский, — прошу... Все протекли в комнату, где у окна на диванчике, свернувшись калачиком, спала счастливая Жоржетта.

— Тише, тише, — распорядился шепотом пожилой, — ребенка будить не надо.

— Да ничего, не беспокойтесь, — сказала Юзя Юльевна, затем произнесла несколько слов по-французски.

— А вот этого не надо, — поморщился пожилой наподобие Ирины Семеновны, — давайте-ка по-русски.

Сильный, насмешливый аромат французских духов сопровождал беседу.

Наступила тишина. Только шелест, шуршание и шорох, да скрип пера. Мартьян, замирая, скрывался в уборной. И небогатый улов в виде ниточки жемчуга, да двух золотых крестиков, да двух обручальных колец, да тощей пачки помятых пятирублевок...

— А где остальное-то? — спросил пожилой без интереса.

— Это все, — улыбнулся Каминский.

— Глубоко затырил, — хмыкнул молодой.

— Ладно, без глупостей, — сказал напарник, и Каминскому: — Что ж это вы, фабрику имели, а ничего не накопили?

— Не успел, — покаялся Ян Адамович по-свойски.

— Мы не успели, — улыбнулась Юзя Юльевна.

— Так, ладно, — сказал пожилой, что-то продолжая записывать, и вдруг спросил как бы между прочим: — а Ирина Семеновна есть такая у вас?

— Соседка, — сказал Каминский.

— Ну и как вы с ней? Ладите?

— Очень даже, — сказала Юзя Юльевна, недоумевая.

Он посмотрел на нее как-то так, не по-милицейски, с иным интересом. Она в ответ улыбнулась произвольно обольстительно, откинула со лба рыжие кудряшки, но он уже снова склонился над листком.

— Ну что, — спросил молодой, — будем дальше искать?

— Ладно, пошли, — поднялся пожилой, — еще успеем, — и оттолкнул буржуйские ценности, — извините, ежели что...

— Да что вы, не беспокойтесь, — Юзя Юльевна пошла их провожать.

И тут дверь распахнулась, и на пороге застыла Настя, так что пожилой милицейский уперся ей в грудь и поднял голову. Долговязая ее фигура загораживала дверной проем. На лице ее, как обычно холодном и неприступном, не было ни гнева, ни даже раздражения, но милицейский слегка отшатнулся. Он попытался ее обойти, да как-то не получалось. Тогда он сказал глухо:

— Ну чего вы, гражданка?.. Ну пройти-то дайте...

Она медленно подняла руку, и эти оба выскользнули в коридор.

Ян Адамович уселся в кресло и закрыл глаза. Губы его подрагивали. Вернулась жена. У нее было серое лицо. Она быстренько привычно накапала в рюмочку лекарства, плеснула воды...

— Силь ву пле, — и попыталась изобразить улыбку. Он глотнул снадобье и сказал ей шепотом:

— Главное, не потерять человеческое лицо.

Покуда длилась эта легкая, по сравнению с другими, безобидная экзекуция, мама курила в своей комнате папиросы одну за другой, и простоволосая Ирина Семеновна стояла над ней и бубнила, словно невменяемая, одно и то же:

— Слышь, не ходи туда, про Мартьяна не скажи... Ну чего он? Чего тебе? Ну?.. Он в дворники пойдет, Печкин обещал... Не ходи туда, слышь, ну их... Награбили, а теперь пусть с их и спросят...

— Да я никуда не иду, оставьте меня в покое! — сказала мама.

— Ты у нас партийная, — говорила Ирина Семеновна и касалась ладошкой мамино плеча, — а он, Мартьян-то, тихий, слышь, не вредный...

Ванванч сладко спал в другой комнате, а Акулина Ивановна в одной сорочке сидела рядом, не сводя с него глаз, и едва шевелила губами в оборочку.

Затем явно хлопнула дверь. За окном разлилось серое, угрюмое, арбатское. Ирина Семеновна пошла на кухню. В дверях сказала маме:

— Спасибочко тебе...

Юзя Юльевна отправилась на кухню сварить кофе. Едва она вошла туда, как Ирина Семеновна отскочила от плиты и исчезла. За нею потопал и Мартьян, растерев на полу самокрутку валенком. Юзя Юльевна вдруг вспомнила странный вопрос милиционера и густо покраснела, потом почему-то вспомнила, как радостно навязывала Ирине Семеновне попробовать ломтик цветной капусты и как та сказала, отводя взгляд:

— Мы етого не кушаем, на всю кухню вонь пошла...

«Идиотка», — подумала тогда Юзя Юльевна, а вот теперь, что-то сообразив, ахнула и прикрыла ладошкой рот.

Затем были обычные будни, и вся квартира опустела, и Акулина Ивановна повела Ванванча погулять. На этот раз они двинулись по Арбату, свернули в переулок, в другой, третий.

— Вот Калошин переулок, — сказал Ванванч, узнавая.

Кругом громоздилась тихая Москва, и затхлым духом несло из дворов, таким родным и благородным. Ванванч был сыт, тепло одет, и няни мягкая рука вела его по хрустящим снежным комочкам. У него не было прошлого, не было будущего, а только это серое февральское утро и редкие прохожие, и пропотевшие редкие московские коняги, впряженные в грубые бывалые сани. Мне трудно, почти неосуществимо представить сейчас, в девяностом году, предметы, запечатлевающиеся в сознании Ванванча тогда, в конце двадцатых...

— Не притомился, картошина? — спрашивала Акулина Ивановна. — Ну и ладно.

У нее напряжение на круглом лице, но Ванванч не придает этому значения: это ему непонятно, это не его забота.

Они идут по бульвару в чаду вороньих хриплых перебранок, и тут в просветах голых переплетающихся ветвей внезапно возникает вдалеке белый холм, увенчанный крестом, и плывет колокольный звон, усиливаясь по мере приближения.

— Видишь, малышечка? Эвон храм-то какой! — говорит Акулина Ивановна. — Слава Богу, вот и добрались.

— Там Бог живет? — спрашивает Ванванч, но она не слышит, она крестится и кланяется этому храму.

— А разве Бог есть? — снова спрашивает он и вновь не удостоивается ответа. Однако это его не обескураживает, и они идут по направлению к храму, все ближе и ближе, и медленно восходят по широким каменным ступеням вслед за редкими людьми, и Ванванч высоко задирает голову и всматривается в вершину храма, вонзающуюся в низкое февральское небо. Акулина Ивановна собирает в ладошки медяки, множество медяков, и у самого входа в храм начинает их раздавать старичкам и старушкам.

— На-ка вот, картошина, подай-ка милостыню бабушке, — говорит она и сует Ванванчу несколько монет. Их много, бабушек и дедушек. Он раздает им монетки, слышит их мягкое: «Спаси, Господи!» и заглядывает им в глаза. У бабушек голубые маленькие глазки Акулины Ивановны, а у дедушек — зеленые тусклые Мартьяна.

Тяжелая дубовая дверь распахнута, и они входят в храм, и Ванванч запрокидывает голову, и его ослепляет желто-красное сияние, прореженное синими искрами. Затем из этого колеблющегося света возникают громадные как бы летящие фигуры бородатых стариков, закутанных в шелковые плащи; и над ними склоняются женские лица с миндалевидными, внимательными глазами, как у мамы. Во всяком случае, он так видит. И он видит себя самого, крылатого и обнаженного, порхающего среди незнакомых пейзажей с золотой трубой в пухлых пальцах. Он слышит стройное пение, и голос няни тихонько вливается в этот хор. Он крепко держит ее за руку, и ему страшно затеряться в этой непонятной шуршащей и бормочущей толпе.

...Дома он говорит вечером маме, делая большие глаза:

— Мамочка, я видел Бога!..

Она ахает, и армянское «вай!» повисает в комнате. Она гладит его по головке, но рука ее твердая, жесткая, чужая.

Потом она долго объясняется с няней в другой комнате, пока Ванванч рисует белый храм с крестом на макушке.

А утром няни нет. И целый день. У мамы заплаканные глаза. Что-то непривычное разливается по бывшей квартире Каминских. На каждый звонок в дверь Ванванч бежит по коридору, но няни нет.

Ему объяснили, что она срочно уехала к себе в деревню.

Больше он ее никогда не видел...

3

...Прошли, как говорится, годы. Ванванч учился уже во втором классе. Жоржетта — в третьем. Она вступила в пионеры на зависть Ванванчу, и служение общественному долгу, подкрепленное красным, хорошо отглаженным галстуком, преобладало над детскими вожделениями. Все реже и реже теперь они во дворе единоборствовали с белыми, все чаще и чаще Ванванч поглядывал на Жоржетту и ее единомышленников, когда они отправлялись по школьному коридору на какой-нибудь очередной пионерский слет или «линейку», куда такие непосвященные, как Ванванч, не допускались. А из-за закрытых дверей доносились звуки горна и потрескивание барабанов, и оставалось лишь гадать о тайне, окружавшей этих сосредоточенных третьеклассников. Ну, Жоржетта позволяла Ванванчу иногда едва коснуться этой тайны и даже однажды повязала ему галстук, но лишь на одно мгновение. Он просто сгорал. Мысли о возможном предательстве с ее стороны не возникало в его голове. Этому еще суждено было случиться. Ян Адамович был по-прежнему элегантен. Он слишком активно поощрял Жоржетту в ее пионерских пристрастиях, иногда даже казалось, что его восклицания несколько ироничны, если бы не строгое при этом выражение лица, если бы не улыбающиеся счастливые глаза Юзи Юльевны. И когда дочь, уходя утром в школу, в пионерском салюте вздымала над головой ладошку и строго глядела на папу и маму, они вытягивались всерьез и проделывали то же самое. А Ванванч сгорал. Лишь Настя оставалась безучастна и, прихрамывая, скрывалась в своем закуточке.

Мартьян трудился дворником. Ему дали комнатку в подвале. Но вечерами он заглядывал по старой памяти на кухню, сидел на табурете как был, в белом фартуке, с бляхой на груди и курил свою козью ножку, и стряхивал пепел под ноги, а Ирина Семеновна молча за ним подбирала. Сын Ирины Семеновны, Федька, учился в фабзавуче, хотел быть токарем.

Кухонные запахи стали попроще. Все меньше изысканных кушаний кипело и варилось на синем газовом огоньке. Аромат французских духов развеялся, а ондатровое манто Юзи Юльевны отправилось в руки перекупщиков вслед за семейным серебром. За годы побывали в квартире еще не раз сосредоточенные люди с холодными глазами, в военных фуражках со звездочками. Приходили они, как водится, по ночам, просачивались бесшумно в комнату Каминских и исчезали под утро. До Ванванча долетали лишь приглушенные намеки, дальше эхо каких-то событий, и вздохи, и шепот, и непонятные слова.

По утрам серое лицо Яна Адамовича мелькало в коридоре, и Юзя Юльевна носила за ним бокальчик с ароматным снадобьем, растерянно и жалобно повторяя французские слова. И по дороге в школу Жоржетта бывала молчалива, хотя, если ее разговорить или рассмешить, рассмеется и покажет свои жемчужинки. Да, если рассмешить. А в основном что-то происходило в воздухе, что-то висело над головой, просачивалось в такую счастливую жизнь Ванванча, однако тут же развеивалось, не особенно задевая.

Приехала из Тифлиса бабушка, бабуся, Мария Вартановна, мамина мама. Что-то далекое и теплое родилось из ее образа, выплеснулось из ее карих глаз, окруженных добрыми морщинками, что-то едва уловимое, почти позабытое, без имени, без названия. Что это было такое, а, Ванванч? И ее тихий говорок со странными интонациями, и армянские восклицания ворвались в его арбатскую душу и растворились в ней. И как-то вдруг сразу произошло, что даже Ирина Семеновна ее не отвергла. Правда, она за эти годы помягчала, поутихла, и только французская речь, едва только слышалась, по-прежнему сбивала её дыхание.

Однажды, он это вспоминает теперь совершенно отчетливо, Жоржетта шла в школу с ним рядом. Внезапно она остановилась. И он увидел перед собой не тоненькую десятилеточку с аккуратными локонами, а изможденную страданием соседку, бывалую и взрослую. Красный галстучек на ее пионерской шейке расположился насмешливо и не к месту. В синих глазах плавала тоска.

— Послушай, — сказала она, — разве мои мама и папа — буржуи?

— Нет, — проямлил Ванванч.

Он вспомнил, что его мама с Каминским была любезна, но дружбы не было. Так, едва ощутимый коммунальный холодок, легкий и необременительный.

— Они приходят по ночам, требуют драгоценности и роются везде, — сказала Жоржетта в пространство.

Ванванч смолчал. Он знал об этом от мамы. Она как-то случайно просветила его, но, увидев широко распахнутые глаза сына, деланно рассмеялась. Получилось неловко.

— Папа настаивает, чтобы мы все уехали во Францию... — сказала Жоржетта.

— Ух ты!.. — захлебнулся Ванванч.

— Но ведь там капиталисты, представляешь?

— А ты? — спросил Ванванч, глотая слюну.

— Что я, дура? — шепнула Жоржетта. — Конечно, нет...

Но когда бабуся после школы кормила его, он вдруг расплакался и потерся щекой о ее руку. «Вай! — воскликнула она скорбно. — Коранам ес!»*

Что-то в бабуся все-таки было от Акулины Ивановны: мягкость, округлость, тихие интонации и запах лука с топленным маслом, когда ее руки повязывали ему шарфик. И в сумерках на фоне серого окна ее округлый силуэт выглядел узнаваемо.

Было жаль разлуки с няней. Было жаль Каминских, решивших уехать. Что-то привычное распадалось. Может быть, вот тогда и возникла впервые скорбная и неостановимая мелодия утрат: один за другим, одно за другим, все чаще и быстрее... И эта мелодия сопровождает его в продолжение всей жизни. Ее нечеткие полутона, заглушаемые дневными событиями, откладываются в памяти, в сердце, в душе, если хотите. Он думал об этом постоянно, ибо мелодия переполняла все его существо, а жизнь без нее казалась невозможной.

Чтобы удостовериться в том, должно было пролететь пятьдесят девять лет. Придавленный этой глыбой, я слышу мелодию утрат особенно отчетливо. Еще торжественней звучат духовые инструменты, еще отчаянней — барабан и тарелки, еще пронзительней — скрипки и виолы. Голоса моих кровных родичей — умерших и ныне здравствующих — сливаются в самозабвенном гимне. Слов нет. Один сплошной бесконечный выдох.

Горестные признаки безжалостного времени никогда не обходили меня стороной, но в те давние годы все это выражалось в обычном свете: раз, два, три... утрата, потеря, исчезновение...

* Горе мне! (арм.).

имя, облик, характер. А теперь, когда накопилось, я вздрогнул однажды и вскрикнул, хотя бездны еще не было видно, но уже пахнуло ею из-за ближайшего поворота.

Бабуся в церковь не ходила, и белый Храм остался в памяти рисунком. Нет, она не была атеисткой, как мама. Она Бога поминала при случае, но как-то буднично и безотчетно и мягко стыдила маму за воинственную хулу, но мама в ответ лишь посмеивалась украдкой.

На кухне уже не распивается шампанское с благословения Яна Адамовича, и Юзя Юльевна тотчас переходит на французский, едва появляется Ирина Семеновна. И этот французский звучит уже не легкомысленно и распевно, а с демонстративной жесткостью и с плохо скрытой иронией. И Ирина Семеновна видит краем глаза эту рыжую распоясавшуюся буржуйку, вылупившую оскорбительные насмешливые глаза, и слышит эту каркающую речь и похохатывание Жоржетты в ответ, и понимает, что говорят о ней, и бежит с кухни прочь.

Из комнаты Ванванча в комнату Ирины Семеновны тянется труба парового отопления, и сквозь незаделанную дыру в стене долетает даже слабый шепот, даже дыхание, а уж нескрываемые слова, срывающиеся с губ хозяйки, и подавно. Что-нибудь вроде: «Феденька, Феденька, кушай хлебушек... он сладкий...» «Головку-то наклони, дурачок, наклони, не видать чегой-то, а ну, погоди...» «Это у ней-то глаза добрые? Нееет, не добрые. Добрые? Ну, ладно, добрые так добрые, ну и ладно...» «Ты учись, учись, дурачок, старайся... Мамку-то кто кормить будет? А это чего у тебя?» «Я, мам, детальку выточил...». «Хороша!» «Ну, ладно, мам, я книжку читаю». «Ну, читай, читай, кто ж тебе не велит? Ну, прямо барин какой...»

Ванванч уже знает, что окна его комнаты выходят на север, а значит, Ирина Семеновна с Федькой живут на востоке, а Каминские с другой стороны — на западе, и это странно. И если раньше голоса из-за стены не воспринимались как речь со смыслом и значением, то последнее время он стал слышать отдельные слова и фразы и понял вдруг, что это же слова! Что они произносятся не случайно, что это не просто гудение за стеной и шелест, и карканье, а слова, выражение жизни, осмысленное и математически четкое, несмотря на кажущийся сумбур междометий и всяких лукавых вводных словечек. И он слышит голос Юзи Юльевны: «Ну, хорошо, завтра обязательно... впрочем, мы с тобой, только ты и я, ты поняла?» «Улица Орхидей... Это звучит? Ор-ши-де, мадемуазель». «Мама, я видела маленького тараканчика. Он очень милый...» «Фу, Жоржетт!» Затем он наклоняется к трубе парового отопления так, что уши его направлены одновременно на восток и на запад, и в тишине начинает улавливать журчание слов с двух сторон, и они вливаются в него и сливаются, перемешиваются, и возникает диалог, и уже трудно не слышать, и он смотрит на бабуся, виновато улыбаясь.

— Вай, коранам ес, как слышно! — говорит она шепотом. — Разве можно подслушивать чужие речи, когда они не для тебя? Ты не слушай, балик-джан*, это стыдно. Ты делай свои дела, как будто ничего не слышно...

— Жоржетта говорит про тараканчика, — смеется Ванванч.

Бабуся приставляет пухлый палец к губам: «Тсс...» ...У бабуся было пять дочерей: Сильвия, Гоар, Ашхен, Анаид, Сирануш и сын Рафик. Она вышла замуж шестнадцати лет за отменного столяра Степана. Фамилия его была Налбандян, от слова налбанд, то есть кузнец. По-русски он звался бы Кузнецовым. Марию выдали за него с трудом, ибо она была дочерью купчишки, хоть и не слишком богатого, но все же. А жених, хоть и красивый, но столяр. Отец гневался. Бабуся ходила заплаканная. Степан (это уже армянский Степан), сжав кулаки и губы, простаивал под ее окнами до рассвета. И дверь их судьбы все-таки раскрылась. И они вошли в нее, не оглядываясь по сторонам, не замечая чужих порядков, никому не завидуя, думая лишь о своем и ощущая себя высшими существами. Музыка их жизни не таила в себе внезапных откровений — она была традиционна и уже обжита, как древнее жилище: Мария была молчалива, улыбчива и покорна, Степан — грозен, величествен и вспыльчив, но вдруг мягок, и вкрадчив и отходчив. Он нависал над юной женой в минуты гнева, и его красивое и жесткое лицо становилось багровым: «Как ты могла, Маруся?! Все кончено! Все растоптано! Ничего

* Дорогой (арм.).

исправить нельзя!..» Она покачивалась перед ним, закусив губы, стройная, беспомощная, едва сохраняя присутствие духа; уставившись на свою домашнюю туфельку, высунувшуюся из-под длинной юбки, и считала про себя: «Мек, ерку, ерек, черс*...» и так до десяти, и когда произносила «тасс»**, он начинал затухать, сникал, смотрел в окно. Тогда она как бы между прочим тихо спрашивала: «Степан, не пора ли корову кормить?» — «Конечно пора, Маруся», — говорил он мирно и буднично и отправлялся в хлев.

Старшая дочь, Сильвия, Сильва, была стройна и красива в мать, но вспыльчива и авторитарна в отца. Как странно сочетались в ней большие невинные карие глаза, мягкий покрыв плеч — и гнев, неукротимость; или тихая, проникновенная, доходящая до простого дыхания речь и внезапно визгливые интонации торговки, но тут же извиняющееся бормотание и пунцовые щеки, и всякие суетливые старания замазать, стереть, замолить свой грех. Но было в старшей дочери и кое-что свое: был здравый смысл, было житейское мастерство и абсолютное невосприятие романтического.

Она выросла стремительно и целеустремленно. Представления о собственном предназначении были конкретны и точны. Детских игр для нее не существовало, сентиментальное отрочество обошло ее стороной, в двадцать четыре года, в пору разрухи и гражданской войны, она внезапно стала главной хранительницей очага, и оторопевшие, потерянные родители смирились перед ее неукротимостью. Она работала в американском обществе помощи России, решительно вышла замуж за не слишком молодого преуспевающего врача, обольщенного ее красотой, твердым характером, вполне продуманной и ясной перспективой и прочими совершенствами. Прикрикнула на отца, когда он вздумал засомневаться в ее выборе, и тут же обняла с очаровательной улыбкой.

Мужа она не любила, но уважала и ценила и, не унижая его достоинства, сделала так, что он чувствовал себя осчастливленным ее властью. Так же внезапно и по-деловому она родила дочь Луизу, Люлю, и вообще все в ней: и поступки, и предвидение, все ее житейское умение были столь добротны и правдоподобны, что многие умники, пытавшиеся ей противостоять или соперничать в искусстве жить, терпели сокрушительное поражение. Общественные страсти были ей чужды. Это напоминало ей игру в куклы. И белые и красные были ей одинаково неинтересны, и громкие их восклицания, сжигавшие толпы соплеменников, оставляли ее равнодушной. «Я в куклы никогда не играла», — отвечала она на вопросы особенно настойчивых оппонентов. Но в практической жизни она умела все, во всяком случае, это подразумевалось в восхищенных придыханиях ее знакомых и близких. «Спросите у Сильвы, — говорили они, — попросите Сильву, пусть Сильва решит». Никто никогда не видел, как она плакала по ночам от заурядного человеческого бессилия, а если и видели, то считали, что это просто издержки темперамента или сильной воли.

Анаида умерла в отрочестве от брюшного тифа.

Гоар была стройна, хороша собой, улыбчива, чистоплотна до умопомрачения и беспрекословна в послушании. Ее выдали за пожилого врача, которому полюбилась эта привлекательная юная армянская барышня из простой, но здоровой, высоконравственной семьи, мечтающая о тихой благополучной семейной жизни и множестве детей, и она перешла в этот новый круг из кукольных забот детства, как-то незаметно, естественно сменив матерчатых чад на живых и трепещущих. Она заимствовала от матери ее теплоту и участливость, хотя в матери это было от Бога, а в ней от житейской потребности, словно нарисованное на картоне. Она не просто, как мать, служила Богу любви, а выполняла свой не очень-то осознанный долг перед природой... И если старшая сестра, Сильва, напоминала костер и гудящее пламя, способное и согреть и осветить, но и сжечь дотла, то Гоар была похожа на свечу, в потрескивании которой слышались иногда и жалобы, и маленькие домашние обиды, и укоризны.

* Один, два, три, четыре... (арм.).

** Десять (арм.).

Ашхен родилась в начале века, словно только и ждала, чтобы благополучно завершилось предшествующее благонамеренное столетие с нерастраченными еще понятиями чести, совести и благородства, а дождавшись, выбралась на свет Божий в каком-то еще не осознаваемом новом качестве, нареченная именем древней армянской царицы, будто в насмешку над здравым смыслом. Темно-волосая, кареглазая, крепко сбитая, презиращая кукольные пристрастия, Ашхен, облазившая все деревья окрест в компании соседских мальчишек, вооруженная рогаткой, обожающая старшую сестру Сильвию за ее непреклонную волю, молящаяся на мать и отца и сама готовая на самопожертвование всегда: утром, вечером и глубокой ночью. Слезши с дерева и накричавшись с мальчишками, она становилась молчалива, словно вновь накапливала растраченные слова, сидела над книгой или, оторвавшись от нее, глядела перед собой, высматривая свое страшное будущее.

Имя царицы померкло в буднях, потеряло свой первоначальный смысл. Оно стало ее собственностью. Теперь им обладала армянская девочка с тифлисской окраины, обогретая грузинским солнцем, надыхавшаяся ароматами этой земли и наслушавшаяся музыки гортанной картлийской речи... А тут еще коварный ветерок из России, просочившийся через Крестовый перевал.

Гоар красиво и растерянно улыбалась, ничего не умея осознать в окружающей жизни. Она собиралась родить. Впервые. Это да сосредоточенное лицо мужа занимало ее больше всего.

Ашхен, как-то внезапно и непредвиденно прыгнув с очередного дерева, отстрелявшись из рогатки и начитавшись каких-то загадочных книжек, погрузилась в веселые опасные будни политического кружка, каких тогда было множество, и закружилась там, задохнулась от внезапно обнаруженных истин и, тараша карие глаза с поволокой, проглатывала впрок высокопарные сентенции о свободе, равенстве и братстве. Старый мир требовал разрушения, и она была готова, отбросив рогатку, схватиться за подлинное оружие и, сокрушив старый мир, пожертвовать собой.

Как странно распоряжается судьба! На самом-то деле у нее все рассчитано, все предопределено, а нам кажется, будто все случайно, что просто случайности бывают счастливые и несчастливые, и задача сводится к тому, чтобы, наострившись, избегать последних и наслаждаться первыми.



Ашхен, 1922

И вот они сидели за ужином. Во главе стола — Степан, а следом — уже пришедшие в гости Сильвия с мужем, Гоар с мужем, рыжий синеглазый Рафик и маленькая Сирануш, Сиро. Мария бегала от плиты к столу. Аппетитно дымились долма*, розовело кахетинское вино, были овечий сыр и пахучая зелень, и горячий лаваш. За окнами южные сумерки стремительно синели и превращались во тьму. Сияла керосиновая лампа.

Распахнулась дверь, и вошла Ашхен. Она была бледна, глаза потухшие, но на губах теплилась растерянная улыбка.

Степана обуревала тревога, это явно проступало на красивом, бородатом лице. Гоар ничего не понимала, да и не хотела ничего понимать, кроме происходящего в ней самой. Сильвия все понимала, но осуждала сестру и восхищалась ею одновременно. Все молчали.

Когда молчание стало невыносимым, Ашхен шумно вздохнула.

— За нами гналась полиция, — призналась она, глядя в пустую тарелку, — мы убежали.

— Почему это за вами гналась полиция? — спросил Степан грозно.

— Мы расклеивали листовки, — призналась дочь.

Степан ударил кулаком по столу. Посуда задребезжала. Мария вздрогнула, но смолчала.

* Мясное блюдо, наподобие голубцов, с виноградным листом вместо капусты.

Ашхен молчала тоже. Говорить не хотелось. Страх не было. Перед глазами маячила злополучная листовка, написанная на малознакомом русском языке. Некоторые слова Ашхен уже хорошо знала: «Свобода», «Классовая борьба», «Смерть капиталу!»

— Ты что, с ума сошла? — спросила Сильвия. — Ты хочешь, чтобы нас всех арестовали? Чего ты хочешь?..

— Она хочет, чтобы я огрел ее ремнем, — сказал Степан, зная, что не огреет.

— Успокойся, папа, — сказала Сильвия, — пусть она сама скажет, чего она хочет, ну?..

— Свободы людям, — упрямо сказала Ашхен.

— Каким людям?! Каким? Каким? Где они?! — крикнула старшая сестра.

— Всем трудящимся, — упрямо сказала Ашхен.

Все молчали. Рыжий Рафик, разинув рот, смотрел на провинившуюся сестру. Маленькая Сиро делала из хлеба птичку.

— Ну хорошо, — сказала Сильвия, — ты у них спросила, хотят ли они этого?

— А почему одни богатые, а другие бедные?! — прошипела Ашхен, прищурившись. — Почему одним хорошо, а другим плохо?! Это эксплуатация, разве не правда?

«Действительно, — подумала оторопевшая Сильвия, — среди богатых встречаются мерзавцы». Она вспомнила тотчас же несколько отвратительных персонажей из знакомой среды, но тут же подумала, что и среди бедных мерзавцы встречаются тоже.

— Что, не правда?! — крикнула Ашхен, прищуриваясь еще сильнее.

— Заткнись! — сказал Степан. — В шестнадцать лет о чем должна думать девушка?

— О любви, — обаятельно улыбаясь, сказала Гоар.

Степан сокрушенно подумал, что царское имя Ашхен должно было принадлежать Сильвии, и пожалел, что плохо знал историю в молодости.

— Жертвы социальной несправедливости... — пробубнила Ашхен.

— Это результат невежества, — сказал муж Сильвии.

— Ээээ, какое невежество? — обиделся Степан. — Она столько книжек прочитала.

Ашхен расплакалась прямо над тарелкой.

...В девяностом году, в конце двадцатого века, Ивану Иванычу странно представлять все это теперь, с его-то опытом. Представлять девятнадцатый год и шестнадцатилетнюю Ашхен, рыдающую над тарелкой, свою маму, тогда едва выбившуюся из отрочества, но которую сейчас он уже успел похоронить на Ваганьковском кладбище, после всего, что случилось. Он представлял ее заплаканное лицо, искаженное отчаянием, и как она закусилась белыми губами, и как сквозь слезы пробивалось многозначительное посверкивание в ее глазах, неукротимое и роковое. И он представляет, как практичная Сильвия, распахивая большие глаза, твердит упрямой сестре: «Не надо, не надо, Ашхен!.. Я не из-за себя, я за всех нас боюсь, и за тебя, дурочка!.. Оставь эту политику!.. Ну, что ты упрямишься, дура?!» И сорокалетняя Мария, моя будущая бабушка, плакала тоже, лаская свою непутевую дочку, повторяя с безнадежной тоской и болью: «Не плачь, не надо, аревит мернем, слушай Сильвию, кянкит матах*...»

...Вот и Ванванчу она говорит: «Не слушай чужие речи, аревит мернем, стыдно...» Ванванчу тепло с бабусей. Он еще не знает истории. Для него и бабушка и мама всегда были такими, как сейчас. Они не родились, не выросли, они неизменны, и они будут всегда. Он едва, с удивлением начинает различать разницу между своими и чужими, и то, что Ирине Семеновне в руку не ткнешься, рассчитывая на тепло и участие; и даже Настя, с которой продолжают дружеские чаепития, и даже Юзя Юльевна, источающая доброжелательные волны, — они не свои, у них иная жизнь, прекрасная, но иная; и даже Ян Адамович, с которым легко и приятно вести мужские разговоры, он тоже иной — отец Жоржетты. И по вечерам таинственный жребий разводит их по разным комнатам, и в каждой — свой запах, свое расположение предметов и рассвет за окнами.

— Скоро мы поедем в Тифлис повидать дедушку и папу, — говорит он Жоржете и хочет добавить, что не худо бы и ей прокатиться с ними, но понимает, что это невозможно. Да и она

* Счастье мое... радость моя (арм.).

смотрит на него снисходительно, как на маленького дурачка, не испытывая ни зависти, ни интереса.

Он хочет быть пионером. Непреодолимо. Но ему пока рано, хотя эти соблазны перенасыщают арбатский воздух.

...А тогда, в тифлисском мраке, раскачивая бородку под светом трехлинейки, армянский Степан спросил у своей плачущей дочери Ашхен, мягко и участливо:

— Вот я рабочий человек, да? Я трудящийся, да? Я свою работу выполняю? Скажи, скажи...

Она кивнула, утирая слезы.

— Целый день работаю, — продолжал Степан, — вечером делаю шкаф с аистами. Тебе нравится?.. Тебя кормлю, одеваю... корову дою... Да? Что хочу — делаю, да?

— Да, — сказала Ашхен.

Он помолчал, оглядел притихший стол и еще тише спросил:

— Какая мне нужна свобода? Скажи мне, цават танем*, какая?

Она взглянула на него, еще сильнее прищурившись, что должно было означать отнюдь не презрение к заблуждающемуся отцу, а всего лишь заурядную нехватку аргументов в ее воспаленной головке.

— Какая мне нужна свобода? — спросил Степан у сидящих за столом.

Муж Гоар деликатно усмехнулся. Степан начал багроветь. Мария сказала поспешно:

— Маленькие они еще, ну? Не соображают, — и вздохнула...

Когда Ванванч приезжал в Тифлис, он жила по разным домам, благо везде ему бывали рады. Но первым делом его поселяли у армянского дедушки Степана, и он постоянно любовался его шкафом, где на дверцах глянцевые тонконогие аисты тянули изысканные шеи из глянцевых зарослей тростника. И он проводил пальцем по полированным выпуклым фигуркам и вглядывался в узловатые руки дедушки, покрытые несмываемыми коричневыми пятнами. Вот его везут в фаэтоне по тифлисским улицам среди платановых теней, он входит в знакомую комнату дедушки, где тот же шкаф и те же аисты, а за окном по утрам пронзительный, словно последняя молитва, долгий крик крестьянина, обросшего темной щетиной, в черной куди** на голове: «Мацооони! Мацооони!..»

— Почему? — строго спрашивает бабушка.

Торговец подгоняет ослика к самому окну, вынимает из хурджина глиняную глазурованную банку, наполненную свежим мацони, и обстоятельно говорит о его достоинствах...

— Почему, я тебя спрашиваю, — говорит бабушка.

Он называет цену. Она громко удивляется, хотя цена уже много лет неизменна.

Ванванч торопливо ест свежее утреннее мацони. За окнами тифлисский гомон. Позднее утро. Дедушка вернулся с базара с большой оранжевой дыней. Нерсес, сын дворника, зовет с улицы Ванванча поиграть. Счастье и предвкушение благодати, чего не бывает в Москве, хотя Арбат переполняет кровь и чувства, и поминается ежеминутно, и оплакивается в разлуке. Дедушка совсем старый — ему шестьдесят шесть. Потом, наконец, появляется папа. Стройный, внезапный, в белой косоворотке, с тонкими запястьями. У него слишком яркие губы, каких нет ни у кого, и когда он целует в щеку или в шею, или в лоб — нежное, обжигающее, полузабытое прикосновение ощущается долго...

У папы темная пышная шевелюра и маленькие усики. Он с откровенным восхищением разглядывает Ванванча: «Какой ты большой! Ну просто взрослый мужчина! Совсем москвич!..» и раскрывает сочные пунцовые губы, посверкивая ровным рядом ослепительно белых зубов. «Папочка, ты повезешь меня на Фуникулер?» — «Конечно, генацвале, обязательно». Но Ванванч знает, что папа не совершит этого: ему некогда, у него партийные дела. Дедушка разрезает оранжевую дыню, но папа отказывается: ему некогда. Он забежит попозже, и они

* Моя радость (букв. «унесу твою боль», *арм.*).

** Грузинская крестьянская шапка.

отправятся на Фуникулер. Но Ванванч знает, что этого не произойдет, что он по какой-то арбатской разрядке определен под дедушкино и бабушкино крыло, и папа будет появляться с фантастической непредвиденностью, будет тискать Ванванча, нашептывать всякие смешные прозвища и вновь исчезать. И Ванванчу остается вновь грустить в разлуке, но нет в нем отчаяния, потому что благоговение перед папой столь глубоко и врожденно, что эта прерывистая лихорадочная связь представляется ему добротной и единственной из всех возможных.

Он отправляется играть в старый тифлисский дворик с Нерсесом и другими детьми, перемешивая армянские, грузинские и русские восклицания с той же самозабвенностью, с какой, перемешиваясь, витают вокруг него ароматы молодого чеснока, киндзы и грецких орехов, и лобии, и застоявшейся лужи под дворовым краном, и выстиранного белья... А там, во дворе он вспоминает Жоржетту, пока вновь не появляется папа.

Они идут по улочке, а дедушка и бабуся смотрят им вслед с деревянного балкона. Папа держит Ванванча за руку, а иногда обнимает за плечи. Уличка узкая, извилистая, выложенная булыжником. Полдневное солнце. Короткие тени. У Ванванча на голове пестрая тюбетейка. Где-то там далеко — Москва, она за горами, над ней туман, а здесь — жара, и ослики лениво трусят по булыжнику, и летний трамвайчик повизгивает на крутых поворотах. Папа подсаживает Ванванча в вагон, а сам вспрыгивает уже на ходу, легко и плавно, с полуоборотом, с форсом, так, что женщины в вагоне ахают, и он им улыбается ослепительно. Через две остановки они выходят на Эриванской площади. Трамвайчик, звеня и повизгивая, уносится куда-то, а они идут через Сололаки*, стараясь не высовываться из густой тени деревьев, пересекают Лермонтовскую, входят в прохладный подъезд. И вот уже распахнута темно-коричневая дубовая дверь, и маленькая, сухонькая, сероглазая бабушка Лиза протягивает руки к Ванванчу, и тихое знакомое: «Кукушка, генацвале!..»

Кто его когда-то назвал этим именем — неизвестно. Но это случилось именно здесь, в прохладной, полутемной и громадной бабушкиной квартире, и, выпорхнувшее однажды из чьих-то благожелательных уст, так и остановилось на нем. Это тифлисский специалитет, неведомый Москве, и он ждет всегда провозглашения этого имени, замирая, с самых малых лет, всегда по приезде, словно зазвучав, оно теперь распахивает дверь уже в папины пространства, наполненные приглушенными переливами грузинской речи. Ну, с ним говорят по-русски, да и меж собой время от времени тоже, но гортанный акцент и взлетающая интонация, и уже не армянское округлое, откровенное «вааай!..», а стремительное «вайме!..» начинает господствовать в этих стенах, и не армянское каменистое, цокающее, безутешное «цават танем!..», а журчащее, переливающееся и высокопарное «генацвале!..»

Если бы он не был таким маленьким приезжим дурачком, а был бы постарше, и голова его варила бы лучше, и он мог бы размышлять о собственной судьбе с практической дотошностью и расчетом, он подумал бы о том, что приятно быть всеми любимым и видеть устремленные на тебя счастливые глаза множества близких людей, нуждающихся, оказывается, в тебе и в твоих глупостях, и он сумел бы оценить все это, и их самих, и радоваться, что они живы. Но он этого не умел, и они пока прочно существовали вокруг него и даже казалось — навеки.

И вот они входят в эту квартиру, на улицу Паскевича, полутемную от прикипших к окнам старинных раскидистых лип. И едва затихают первые поцелуи и объятия, как начинается привычное, будто непрерывное существование с раскрытой на коленях книгой, какими-нибудь приключениями Робинзона Крузо, с тарелкой, наполненной желтеющей медовой тутой, с отдаленными голосами бабушки Лизы и папы из кухни. О чем они говорят? Это его не касается. Это его *пока* не касается. Он совершенно спокоен: он знает, что скоро придет тетя Оля, папина сестра, и будет судорожно обнимать его худыми руками и будет рассказывать ему тихим голосом о походах Александра Македонского или об убийстве замечательного Марата подлой притворщицей Кордэ, и бледные губы рассказчицы будут шептать в полумраке гостиной: «...и

* Район в Тифлисе.

тут, Кукушка, внезапно распахнулась дверь...» Вошедшая на минутку бабушка Лиза спросит у дочери: «А Галактион не придет?» Это о прекрасном, громадном, кудрявом, неукротимом и вкрадчивом Галактионе с детскими глазами и улыбкой странника. «Он очень устал, мама», — скажет тетя Оля о муже, и все тотчас догадаются об истинной причине, а папа погладит сестру по голове: «Ты очень хорошо выглядишь, знаешь?» — «Ну а ты просто красавчик», — скажет сестра. «А посмотри, как мама хорошо выглядит, а? — скажет папа. — Мама, ты так хорошо выглядишь, что тебе можно позавидовать... Кукушка, ну-ка посмотри на бабушку...» — «Ага», — говорит Ванванч и продолжает читать. «Здесь слишком темно, — смеется бабушка, — ну что ты можешь увидеть?» И она уходит на кухню. Потом и тетя Оля уходит за ней, но появляется Вася, которого дядей Васей и не назовешь, а просто Вася, студент, насмешник. Он тычется большим носом Ванванчу в щеку и по-студенчески похлопывает его по плечам: «Кукушка, какой ты стал громадный!.. А ну-ка, какие у тебя мускулы? — и ощупывает хилую московскую руку Ванванча. — Ого! Настоящий силач!.. А в голове что творится? Какие идеи тебя одолевают? Твои политические пристрастия?..» — «Он большевик», — говорит папа.

Вася играет Шопена на рояле, стоящем у окна, и посматривает на Ванванча с томной улыбкой меломана. «Хорошо играет Васька, правда?» — спрашивает папа, обнимая Ванванча за плечи. «Я большевик», — думает Ванванч. И с умилением спрашивает: «Папочка, мы все большевики, правда?» Папа смеется. «И мама, и ты, — говорит Ванванч, — и я, — и вспоминает Жоржетту, — и Жоржетта...»

Постепенно все собираются к бабушкиному столу и сидят за длинным столом. Бабушка Лиза на главном месте, рядом с ней Ванванч, потом папа, тетя Оля, Вася, а потом и те, что пришли позже: дядя Миша, невысокий, полнеющий, немногословный и как будто бы даже застенчивый; дядя Коля, похожий на папу, но без усиков — все, почти все. Вот только Манечка-хохотушка живет в Москве, и о ней вспоминают, вздыхая.

А в стороне от всех сидит дядя Володя, самый старший. Он в черном костюме, в ослепительной белой сорочке и с пестрой бабочкой на шее. Он сидит прямо, вздернув мясистый подбородок, и серая фетровая шляпа неподвижно и торжественно покоится на его коленях. На слегка одутловатых, до блеска выбритых щеках — легкий отсвет, плывущий из окна. Краешки полных губ пренебрежительно опущены. «Володя, как хорошо, что ты пришел, — говорит дядя Миша, а сам смотрит на Олю, она кивает ему, — Кукушка все время спрашивал о тебе». — «Он очень хорошо выглядит, — говорит Оля, — не правда ли?» — «Володя, генацвале, — говорит бабушка Лиза, — пообедай». — «Пообедай, говорят ему, — роняет дядя Володя, не меняя пренебрежительного выражения губ, — я уже обедал, отвечает тот. Да, но это же было вчера!.. Зато я хорошо помню...» Вася громко смеется захлебываясь. «В Женеве все обедали вместе, — говорит дядя Володя, — и большевики, и меньшевики, и анархисты, и эсеры...» — «А потом все перегрызлись, — говорит папа, — одни мы остались». — «Ну, знаешь, — говорит Володя, — не повторяй ленинские глупости... Это он со всеми перегрызся...» — «Сирцхвили, Володя, — говорит бабушка Лиза. — Как можно при ребенке?» — «Нервы не выдерживают, — шепчет Володя толстыми губами. — Ты хорошо знаешь, — говорит он папе, — куда их всех потом отправили». — «Не надо об этом, — говорит примирительно дядя Коля и напевает: — Алма-Ата — аул зеленый, там три базара и река, и все троцкисты молодые со всех губерний свезены...» Дядя Володя почетный революционер. Он получает революционную пенсию. Глядя на него, Ванванч всегда думает с восхищением, как он бросал бомбу в кутаисского губернатора. «Большая была бомба?» — спрашивает он время от времени у почетного анархиста, но тот не отвечает...

Ванванч съедает обед быстрее всех и убегает в дальний конец комнаты, и проваливается в старое бабушкино кресло с книжкой. До него долетают обеденные шумы: отдельные слова, смех, позвякивание посуды, все неотчетливое, необязательное. Потом уже привычное Володино: «Ну, мне пора», затем — второе, третье. Все пьют чай. Володе бабушка Лиза подает в его особой чашке, той, с розовой каемочкой: из другой посуды он не пьет. Эта чашка всегда стоит в буфете особняком. Ее нельзя трогать. «Такое впечатление, что кто-то уже пил из этой

чашки», — говорит дядя Володя и подозрительно всматривается в сидящих. «Бог с тобой, Володя, — говорит Оля, — как ты мог подумать?» Уходит дядя Коля, пощекотав Ванванча, уходит дядя Миша, поцеловав его в щеку, и все целуются друг с другом, словно расстаются навеки, звонко, горячо, отчаянно, не по-московски, а с бабушкой Лизой говорят с особым придыханием. Ванванч отложил книгу и тоже участвует в этом восхитительном обряде. Ему и смешно, но и грустно, и странно.

Вдруг он почему-то вспоминает Каминских, их тихое, укромное, почти скрытное существование, словно комната их — глубокая нора, откуда они появляются посмотреть на этот мир, где счастливо живет Ванванч и его мама, и его папа, и все его дяди и тети. Каминские словно выползают из своей норы и раскланиваются, улыбаются, шутят, плачут, делают вид, что тоже счастливы, но краска спадает с лица, оно становится серым и испуганным, и сильный запах лекарства сопровождает их ускользание обратно в нору. Как не похожа их угловая комната, где не протиснуться меж шкафом и столом, на эту громадную, полутемную, прохладную, в которой так уютно и легко, почти как в закуточке у Насти. И, вспомнив Настю, он ощущает в груди горькое чувство, не имеющее названия: ему кажется несправедливым, что Настя — Жоржеттина, а не его, что как он ни старается, как ни лезет ей под бочок, как ни заглядывает в ее добрые глаза, как ее сухая ладонь ни ласкает его по головке, но все ее щедроты еще горячее проливаются на Жоржетту, и в этом неприметном соперничестве ему достается меньше.

Ну, конечно, Жоржетта такая стройная, черные локоны на матовом лобике, медленные распевочки вместо слов, быстрый лукавый глаз, красные горячие губки, и все у нее — обожаемое. «Мамочка, я обожаю Жоржетту!» Конечно, и Настя ее обожает, и это так сладко и так горько...

...От бабушки Лизы они с папой возвращаются тем же путем уже в сумерках. Армянский дедушка Степан и бабуся Маруся им рады. А завтра он отправляется к тете Сильвии и Люле — своей сестре, и они все уезжают в Евпаторию. Все советские дети живут счастливо, знает он. Все, все, кроме пожалуй, Нерсеса, соседского мальчика во дворе, с вечной капелькой на носу, с плутовскими черными глазами, в продранных штанишках. «Нерсик, почему у тебя опять порванные штаны?» — спрашивает его бабуся. «Жарко, — говорит Нерсик, осклабясь, — специальные дырки...» Да, все живут счастливо, кроме Нерсика... Теперь же Ванванч, съев порцию мацони, ложится в теплую постельку, приготовленную бабусей в маленькой комнатке старого двухэтажного дома на извилистой улочке армянского квартала, ложится с неперемной верой в неминуемое счастье, не обремененный ворохом воспоминаний, недоумений, отчаяния и боли, как дедушка и бабуся, спящие на старинной облупившейся никелированной кровати у противоположной стены.

Революция ворвалась в жизнь Степана и Марии Налбандян не внезапно. Она накапливалась исподволь. Сначала тянулась угрюмая война, и они благодарили Бога, что Рафик еще слишком мал. Потом они молили Бога, чтобы мужа Сильвии на фронте не задела коварная пуля. Затем начались странные метаморфозы с Ашхен, и их взаимное непонимание усугублялось.

...А в заштатном Кутаисе папин отец Степан Окуджава в те давние годы в утренние минуты трезвости и раскаяния начал осознавать, что мир рушится и его многочисленные дети причастны, оказывается, к этому разрушению, эти милые, сердечные, ясноглазые, улыбчивые молодые люди, пророчащие какие-то немыслимые блага и совершенства всем, всем, всем — и жителям этой улицы, и всего Кутаиса, и всей Грузии, и всей России, и Африки, и Америки. По кротости души Степан не спорил и не сопротивлялся. На губах его уже застыла вечная непоправимая улыбка, а в глазах — тоска. И, глядя виновато на свою худенькую Лизу, склонившуюся над корытом, на свой шаткий домик, на дворик, завешанный чужим бельем, он пожимал плечами и произносил одно слово, как слово беспомощной молитвы: «Равкна*...»

* Что поделаешь... (груз.).

Так с этим словом на устах он и кинулся в 1916 году с моста в желтые воды Риона, то ли проклиная, то ли оплакивая, то ли жалея. И ведь не на обратном пути из харчевни, а по дороге туда... А может быть, он, как всякий недоучка, не успевший застыть в плену роковых догм и академических знаний, оказался более прозорливым и разглядел сквозь облака пыли рухнувшей империи трагическое завтра своих отпрысков и неминуемую расплату за самонадеянную поспешность в сооружении земного рая. «Это Божье дело, — говорили в базарной харчевне друзья и собутыльники, — как может человек своими нечистыми руками выполнить то, что предназначено Богу?» Тогда, помнится, желая как-то оправдать любимых детей, он пробубнил, уткнувшись в свою тарелку, что это не по злу, а по доброте. «Нет, это не доброта, — возразили ему, — это болезнь». И были непреклонны, когда узнали, что дети не употребляют вина, не приемлют эту розоватую, прозрачную, таинственную, терпкую кровь земли... И волны Риона сомкнулись над Степаном.

А мировая война тем временем подходила к концу, и ее тоже никто не считал Божиим промыслом. Затем она бездарно завершилась. Лобио на базаре подорожало. Из Петрограда пришло известие, что царя больше нет, и две бабушки воскликнули одновременно — одна «Вааай!», другая «Вайме!» Ашхен нацепила красный бантик. Степан Налбандян вспыхивал и багровел, но не столько от предчувствия серьезных катастроф, сколько от нарушения привычного распорядка. Затем поздней осенью пришло известие о большевистском перевороте там, в России. Лобио подорожало нестерпимо. По Тифлису бушевали митинги. Гоар с мужем перебралась в Эривань. В этом тихом городке созревала Великая Армения. В Тифлисе Сильвия, презирая болтовню, трудилась в лазарете, по вечерам склеивала корзиночки из кусочков замши, продавала их и подкармливала своего уцелевшего на фронте хирурга и начавших стареть родителей.

В Тифлисе правили меньшевики. Они восстановили частную торговлю, и лобио подешевело, но пришлось усилить контрразведку для противоборства с большевиками. Большевики затаились и уповали на Москву. В это время Ашхен вошла в подпольную ячейку.

Ей было семнадцать. Как-то все не сочеталось: большие карие глаза, миндалевидные и влажные, однако источающие ну не то чтобы холод, но строгое осеннее спокойствие. Горячие яркие губы, предназначенные словно лишь для пылких прикосновений, обычно сложенные таким образом, что и мысли о поцелуе не могло возникнуть — чуть опущенные края, олицетворяющие не презрение, но неприступность, недостижимость, отрешенность. А тут еще эта манера подставлять под подбородок смуглую кисть руки, и перед всем этим неоднократно рушащиеся поползновения всяческих самонадеянных проказников, да, впрочем, и не только их, но и многих благородных ухажеров. Однако моему отцу, как говорится, пофартило. То ли душа его маленькой матери простерла над ним свои добросердечные крыла, то ли что-то загадочное было в его природе, то есть притягательное само по себе — неизвестно. Во всяком случае, всем прочим, не менее прекрасным и достойным, Ашхен предпочла его, хотя он не сулил ей золотые горы.

4

Не думал я, пускаясь в плавание, что мое родословное древо приобретет постепенно столь обременительный, столь вероломный характер. Ветви его, благообразные на первый взгляд, оказались чудовищами, густо заросшими листвой имен, каждое из которых — целая жизнь, нуждающаяся в объяснении. И весь этот наполовину пожухлый, потускневший ворох полон еще, оказывается, тем загадочным веществом, которое неистовствует и нынче и требует к себе внимания, и теребит твои заурядные способности, и умоляет все осознать, понять, разложить по полочкам.

Люди, уважающие себя, вернее преисполненные чувства собственного достоинства (нет-нет, не амбициозные или гордые, а потому напыщенные, чванливые — нет... именно полные достоинства, а значит, способные уважать вас и даже восхищаться пусть не великими вашими

качествами, даже служить вам возвышенно и красиво), такие люди не забывают своего прошлого, не отбрасывают его на обочину с усмешкой или высокомерной гримасой. Стараюсь учиться у них.

И в комнате бабушки Лизы нельзя было пройти просто так мимо большой, многократно увеличенной единственной фотографии погибшего Степана Окуджава, чтобы не ощутить, как он всматривается в тебя, обжигая тоской и недоумением. А что ты можешь ему ответить? Кипят ли в тебе те самые единственные, ненапрасные слова, с помощью которых тебе, наконец, удастся утешить его? Нет, бессильны наши ухищрения. И вот он пристально всматривается и в седенькую свою Лизу, и в повзрослевших детей. Времена переменялись, а взгляд его неотрывен, пронзителен, и они это чувствуют, дети счастливого писателя, их память еще свежа и деятельна, хотя сами они устремлены в грядущее. Только отдельные частности вспыхивают еще в воспаленном мозгу, не дают покоя.

Володя, например, погружаясь в воспоминания, видит не нервно-ожесточенные минуты перед покушением, не бледные желтые лица товарищей, поросшие жесткой щетиной, не трясущиеся пальцы и искаженные решимостью лица, а тихую женевскую улицу, упирающуюся в озеро. И он покидает кафе, где пахнет ванилью и кофе, и свежие круассаны еще ощущаются во рту. Тихий респектабельный женевский полдень. Внезапно представляется ему кутаисский дом, вот так, ни с того ни с сего, почему-то, как удар, как наваждение. Все в сборе, и папа гладит его по головке и что-то такое бормочет, распространяя слабый запах имеретинского вина, а мама подает горячее чади и немного имеретинского сыра, нарезанного тонкими ломтиками. А рядом — тихий Миша и веселый Саша, и затаенная Оля, и маленький Шалико. Чади переламывается с хрустом, из него вырывается пар и душный кукурузный аромат. Кусочек чади и ломтик сыра, а после глоток горячего чая... Воскресенье. На белых потрескавшихся стенах — несколько пожелтевших фотографий. Да вот, пожалуй, и все. Но запах чади так неукротим и даже нагл здесь, на женевской улице. Он вдруг начинает главенствовать, вытесняя все остальные. Боже мой, от него нет спасения! Да и что запах? Перед глазами все время это золотое, рассыпчатое, горячее, крупитчатое вещество, так привычно прикипающее к губам... Почему мы, грузины, так страдаем в изгнании? А армяне, Володя? А евреи? А русские? Да, да, все страдают, несомненно, но мы особенно: армяне разбросаны по всему свету, не так ли? И русские, и евреи, а нас почти нету, мы не можем... Там — мама... У всех мамы, Володя. Да, да, несомненно, но и все-таки там — мама, вечно раздражающая своим тихим голосом, покорностью и безысходностью, но мама, мама... Шен генацвале*, мама! Как она все успевает: и эти чужие тряпки, и эти рты, и столько жалости... Мама! Дэда! Дэдиго!..** И уже не было ни Женевы, ни туманного чистого озера, ни хрустящих круассанов... И потом, уже возвратившись на родину, он вспоминал постоянно эту минуту там, в далекой поблекшей Женеве, пропахшей горячим чади и чужим свежестыраным бельем.

А Михаил? Миша? Он, вспоминая, видит всегда почему-то бревенчатый колодец на окраине Алма-Аты двадцать седьмого года. Не двадцатые годы, не подполье при меньшевиках, не разношерстные толпы одиннадцатой красной армии, ворвавшейся в Грузию; не бегство меньшевистских отрядов. И не то, как секретарем ЦК он занимает кабинет в старом здании на Головинском проспекте и вселяется в большую прохладную квартиру в Сололаках, в квартиру с дубовым паркетом, а мама уже не прачка, и она переезжает к нему: она ахает у входа и тербит свои худенькие ручки и никак не решается переступить через порог. С Кутаисом покончено. Хватит. Вот рояль. Пусть Васику учится музыке. «Сацхали*** Степан!» — бормочет она и утирает слезы. Нет, не это он вспоминает, а бревенчатый колодец на окраине Алма-Аты рядом с непонятно откуда возникшим российским срубом-пятистенком среди потрескавшихся казахских мазанок. Они с Колей живут в этой избе, в одной тесной комнате, высланные из

* Моя дорогая (*груз.*).

** Мама... мамочка (*груз.*).

*** Бедняга (*груз.*).

Грузии, как неразоружившиеся буржуазные националисты, и черт его знает что еще. И все это после указания Москвы, после шумного и унижительного единоборства с коллегами по партии, после оскорбительных обвинений в уклонах и оппозициях...

И вот он всегда вспоминает, как у колодца, так уж само по себе получилось, сходилась вся эта высланная братия, и стал тот колодец местом встреч. На лицах застыла горечь и недоумение, и Миша повторял тихо, но твердо: «Нас ожидает худшее: горийский поп на этом не остановится... Мы не в состоянии доказать свою правоту...» — он смотрел на собравшихся глазами своего отца.

И самое главное, вспоминает он, что именно у этого колодца и была произнесена зловещая фраза всегда мрачным и молчаливым Гайозом Девдариани: «Правота? Вам, оказывается, нужна правота, а не правда?.. А правда в том, что это начало конца...» — «Какого конца?!» — закричали все хором, засуетились, забежали вокруг колодца. «Что поп? — сказал Гайоз, не отвечая на вопрос. — Мы сами-то чисты ли?..» И вот теперь, когда все уже, кажется, позади: и колодец, и Алма-Ата, и ссылка, и работа в ЦК, все чаще вспоминается фраза, ее гибельная интонация, ее безнадежный смысл. И Михаил Степанович теперь, в Тифлисе, этих слов позабыть не может.

Воспоминания Саши — эти прерывистые, необязательные вспышки прозрений, греющие и отравляющие, не нарушали течения его захолустного благополучного батумского прозябания. Да, все было. Было, было и прошло, как сон, как утренний туман: и беспечное офицерство со службой царю и отечеству, и кутежи, и случайные красотки, чей полет был всегда непредсказуем, и кратковременные наведывания в кутаисский дом, чтобы обнять мамочку до хруста, выслушать ее проникновенные интонации, поругаться с братьями, попкироваться с ними, разрушающими основы, а затем, перецеловав их, исчезнуть. Да, все это было. Затем — война, и рана от австрийского штыка где-то под Легнице, и расколовшаяся внезапно земля, и расколовшаяся жизнь, и бегство в Новочеркасск в холодное и голодное офицерское общежитие на каком-то заброшенном чердаке... «Господа офицеры, или спасем Россию от хамов, или умрем...»

Однажды в Харькове в девятнадцатом году их поредевшую, завшивевшую дивизию охватил голод. То есть мало того, что впереди — зияющая пустота и безысходность, уже осезаемая, но и голод (Господи Боже мой, как все навалилось!) и никаких надежд, и последние ничтожные припасы раздавались солдатам и офицерам, чтобы протянуть недолгое время. И тут по дивизии распространился приказ, похожий, впрочем, скорее на вопль отчаяния: «Господа офицеры, вам роздан полевой паек, который вы заслужили и как воины и как благородные сыны отечества, идущие на страдания и жертвы во имя великой цели. Господа офицеры, в нашем обозе множество беспомощных женщин и детей, обреченных на голод... Господа офицеры, убедительная просьба — делить из своих скудных припасов консервы для раздачи несчастным, вынужденно и преданно сопровождающим нас и безропотно разделяющим нашу судьбу». Саша проплакал над этим приказом и сдал свои проклятые банки, как, впрочем, и все остальные однополчане.

А затем он проделал весь путь с добровольческой армией, горький и безнадежный, несмотря на многочисленные победы... И это страшное отступление через Крестовый перевал голодных и нищих людей, уже не армии — а толпы обезумевших оборванцев. И там, на этом заснеженном крестовом пути, он встретил беженку. Милосердную сестру, потерявшую своих и одинокую в снежном буране. Саша, изнемогший от усталости, ветра и стужи, присел на землю спиной к скале, позвал маму: «Дэдику, спаси меня!..» И тут же она наклонилась над ним. Он увидел над собой белое лицо, бледные плотно сжатые губы, громадные глаза, шаль, опущенную на лоб. Он всмотрелся: видимо, ему померещился изможденный ангел и, теряя сознание, он понял, что эту женщину прислала мама. Она покормила его хлебом и холодной вареной кукурузой. Потом она медленно повела его по снежной дороге, и он почувствовал, что силы возвращаются к нему. «Вы ангел?» — спросил он серьезно. «Нет, я Нина Колесниченко», — так же серьезно ответила она.

«Я запомню», — сказал он.

Потом они вместе добрались до Тифлиса. Было уже тепло. Была жива пока Грузинская республика, и слухи о возможном нашествии большевиков не вызывали страха. Американцы кормили беженцев да и всех голодных супом. И Саша с Ниной получили по миске с белым хлебом! Насытившись, он посмотрел на Нину, впервые: какая она? Она сбросила платок с головы. У нее были темно-русые, слежавшиеся волосы, одутловатое лицо болезненного цвета, ну, в общем, она выглядела так, как должна была выглядеть после столь тяжкого пути. Она была старше, чем показалась ему вначале. Она заметила, что он рассматривает ее, и покраснела. Саша увидел, что она прекрасна. Потом, в какой-то неистовой, нелепой беженской толпе и давке он потерял ее. Теперь трудно объяснить, как — но это случилось, и вот уже десять лет он вспоминает прекрасное лицо и, рассказывая в сотый раз об этом, всматривается в маму, но та не выдает своей причастности.

Кстати, потеряв Нину Колесниченко, накружившись по Тифлису до одурения, наотчаявшись, он добрался до Кутаиса, отогрелся дома, отоспался, а тут и большевики нагрянули. Многие побежали в Батум, чтобы затем пробиться в Константинополь, и Саша собрался тоже. «Неужели ты покинешь Грузию?! Маму?!» — спросил Шалико. «Вы же меня убьете, — сказал Саша брату, — я же денкинский офицер!» — «Не говори глупостей, — сказал брат, — ты не денкинский офицер, ты просто заблудшая овца. Хорошо, уезжай в Батум, но сиди там, сиди тихо и обо всем подумай... Мы не дадим тебя в обиду, клянусь мамой».

Саша в Батуме затаился, затем выучился на бухгалтера, как-то удачно соединив арифметику с бывшим офицерством, точность со страстью, расчет с благородством, и горькая чаша действительно его миновала. Оттуда он видел, как один за другим возносились его братья и как они падали, но, вспоминая прожитую жизнь, видел перед собой белое лицо Нины Колесниченко и в своем уездном благополучии понимал с грустью, что ей нет нужды навещать его.

У Оли была робкая улыбка на худощавом вытянутом лице. Но это вовсе не означало слабости душевной. Когда ее темные глаза широко раскрывались, они начинали источать мягкую непреклонность, именно мягкую, не оскорбляющую собеседника, не доводящую его до состояния раскаяния в собственных слабостях, до униженного отрицания себя самого, а, напротив, как бы вливающую в него некое вдохновение... К ней попали как-то размышления русского философа о том, что равенство есть пустая идея и что социальная правда должна быть основана на достоинстве каждой личности, а не на равенстве. Эта нехитрая мысль воспламенила ее и одновременно столкнула с братьями. Перед ее чистыми глазами они не могли просто пренебречь высказанным, но и согласиться — значило разрушить свой собственный, уже устоявшийся мир. И потому Миша горько вздохнул, жалея сестру; Коля усмехнулся; Шалико поморщился и сказал, возможно, в пику братьям, а может быть, подтверждая сестринское: «Если это подразумевает абсолютную свободу, я солидарен». Но его солидарность выглядела несколько равнодушно и литературно. Зато она заставила вспыхнуть Галактиона.

Они еще не были мужем и женой. Этот молодой темноволосый поэт в потертом, но аккуратном пиджачке, выкарабкавшийся из бедного детства, познавший сладость чтения, хлебнувший российских и западных откровений и растворивший их в своей густой неторопливой и вечной картлийской культуре, словно в собственной крови, замер однажды перед этой некрасивой загадочной девушкой в сером невыразительном платье с белоснежным воротничком вокруг не очень-то основательной шейки. Какой был подан знак, что вызвало эту мгновенную вспышку взаимного пристрастия — останется вечной тайной: то ли робость ее взгляда, то ли исходящая от нее надежность, сквозившая в ее спокойных интонациях, то ли совпадение вкусов, то ли схожее воображение — объяснить невозможно...

Он жаждал добра, но страдал от жестокостей. Он хотел воспеть этот новый мир, но всякий раз каждый восклицательный знак приводил к отрицанию самого себя. Его убеждали, что новое рождается в муках, и он соглашался и радостно ахал, но после ощущал почти физическую боль в пальцах, а на горле — веревочную петлю. «Бедный Галактион, — говорили о нем Олины братья, — он слишком утончен и раним, чтобы безнаказанно вариться в крови и грязи, из

которых рождается новое». — «Я так люблю твоих братьев, — говорил Галактион Оле, — они так чисты и бескорыстны, но, знаешь, они почему-то похожи на благородных разбойников, вынужденных бесчинствовать по чьей-то холодной воле...» Он любил вспомнить произнесенное Иоанном Кронштадтским: «Радуйся, когда тебе предстоит случай оказать любовь. Оказывай любовь просто, без всякого уклонения в помышления лукавства, без мелочных житейских корыстных расчетов, памятуя, что любовь есть сам Бог — существо непростое...» Он ахал, а Оля смотрела в его детские глаза и улыбалась.

Исповедуя любовь в высшем смысле, она соединяла в своем сердце облик поэта и лик Грузии, и это так хорошо укладывалось в ней, так естественно располагалось и горело ровным, непрерываемым пламенем. «Оля, генацвале, ты идеалистка, — говорил ей Миша, — идеализм слишком беспомощен и несостоятелен в наше сложное время», — повторял он, подразумевая ее эсеровские пристрастия и народнические склонности. «А кем же еще можно быть? — ахал Галактион. — Посмотри на нее: она олицетворение добра. В вашем гранитном материализме я этого что-то не замечаю. Идеалистка... А что еще можно противопоставить вашей непреклонности и обилию крови?..» Миша снисходительно улыбался и уходил от напрасного спора. Он очень любил Галактиона.

А крови становилось все больше. Пока эта загадочная жидкость распространялась по горячему телу где-то там, в его сокровенных глубинах, можно было думать о житейском и даже о вечном. Но когда она вырывалась наружу, теряя свой природный жар и окрашивая все в багрянец и, конечно, утрачивая свой естественный смысл, — тогда становилось страшно, и этот ужас продолжался до тех пор, пока не наступало привыкание — оскорбительный для человека бедственный соблазн.

Поженившись, они устроились на шатком Олимпе, среди не слишком-то надежных облаков, стараясь по возможности отрешиться от настойчивых уколов действительности. Да разве это было в их силах? И тут Оля стала замечать, что тихие старания тридцатилетнего поэта напоминают ей уже хорошо знакомый с детства поединок бедного ее отца с суровыми претензиями жизни. И растерянная улыбка, и печаль в глазах, и нервная сосредоточенность, и боль от собственной беспомощности — все было похоже, похоже... И за грузинским неторопливым столом, с участием выслушав тамаду и глядя на него влюбленными глазами, Галактион первым стремительно осушал свой бокал, и рука его дрожала. Затем она застала его в один из дней наедине с ополовиненной бутылкой. Глаза у него при этом сияли. Он расспрашивал ее о матери и братьях с лихорадочным и хмельным пристрастием, поделился какими-то суетливыми фантазиями, все понимая и зная. Она не была с ним снисходительна, как следовало бы с нетрезвым человеком, но — серьезна, и вела разговор на равных. Лиза-то знала природу этого огня и страдала за дочь. Но в Оле пробудилось что-то: то ли это был фатализм, то ли она распознала в сумбуре счастливых восклицаний откровения его дара и вдохновения — кто знает. Оля, однако, *предчувствовала* — и не сомневалась. В грядущем — аукнулось все это...

Однажды Галактион привел с собой молодого стихотворца, невысокого полноватого юношу с добрым лицом. Его звали Карло. Он влюбленно смотрел на Галактиона. «Галактион все может! — восхищенно признался он Оле. — Пока другие поэты еще созревают для открытия, а он уже открыл! Он всегда первый, вот какая штука!» Восторженный смех и легкое необременительное подобострастие сопровождали каждый его визит.

Нам еще предстоит о нем вспомнить. В этот же свой приход он сказал, что в большевиках ему нравится непримиримость в отношении всяких литературных извращений, чрезмерных изысков, барского эстетства. «О, — воскликнул Галактион, — несомненно, несомненно...», но что-то дрогнуло в его лице. Нет, в этих словах не было ни солидарности, ни элементарного согласия. Они были пусты, не наполнены смыслом, но Олю коробили, и она с трудом сдерживала себя. Кто-то сказал Галактиону как-то, то ли всерьез, то ли с насмешкой: «Оказывается, Галактион, нужно убить *тех*, чтобы жили *эти*...» — «О, — воскликнул Галактион по обыкновению, — несомненно, несомненно!..» — «Третьего, к сожалению, не дано, Галактион,

а?..» — «Да, да, — пробубнил Галактион, — несомненно, несомненно...», но лицо его при этом, повернутое от собеседника, исказилось, глаза погасли, он торопливо расстегнул пуговичку на воротнике и простонал: «Олечка, это чудовище меня погубит...» Она утешала его, как могла, как только она умела с помощью каких-то прикосновений и железных аргументов и уже не удивилась, увидев спасительный бокал в его руках и услышав задыхающееся: «За тебя, моя Оля!..» Это помнилось ей до последнего часа.

В 1921 году Шалико было двадцать лет. Тут, собственно, все и началось: бурное, лихорадочное, непрерываемое служение возвышенным пролетарским идеалам. Это выглядело как последний подвиг, ибо дальше начиналась полоса чудес в давно обещанном царстве любви и братства. И это все было уже почти под рукой, почти осязаемо, слегка припорошенное пылью и обломками разрушенной вековой несправедливости, омытое кровью врагов и героев, не терпящее сомнений и украшенное высокопарными лозунгами, смысл которых еще не успел затуманиться и приесться. Пробормотанное Гайозом Девдариани было еще впереди, то есть то, что он сказал об общей ответственности, не только вождей, но и рядовых. Задумываться было будто бы и не над чем. Внезапно свалилось в неприспособленные руки сладкое право решать, вести, поощрять, отвергать и даже преследовать. И еще четче обозначилась пропасть меж вчерашними соплеменниками, меж *теми* и *этими*, «нашими» и «чужими».

Когда одиннадцатая красная армия, перевалив Крестовый перевал, ворвалась в Грузию, все тотчас встало на свои места. И двадцатилетний Шалико стал внезапно начальником кутаисской милиции. Большой парабеллум повис на правом боку, и молодая рука с тонким запястьем прикасалась к деревянной кобуре. «Шалико, генацвале, ты слишком возбужден, — говорила Лиза сыну, не скрывая тревоги, — не забывай, что вокруг тебя люди...» — «Хорошим людям нечего опасаться, мама», — говорил он. «А как узнать, кто хороший, кто плохой?» — спрашивала она, пытаясь погладить его по жестким кудрям. «Для этого есть пролетарское чутье, мама», — говорил он и целовал ее. Неведомое матери ранее беспокойство металось в его глазах. Он разговаривал с ней по-прежнему, по заведенному обычаю тихо и с улыбкой, но что-то суетное появилось в его жестах, что-то окончательное, непреодолимое. Так он встретил в своем кабинете управления милиции Тамаза Басария — бывшего соученика по кутаисской гимназии, сына известного в свое время адвоката. Голубоглазый Тамаз, душа класса, благородный обворожитель губернских невест, вошел к нему, виновато, через силу улыбаясь. «Тамаз, я все знаю, — сказал Шалико, — твой отец меньшевик и меньшевистский подпевала. Он плюнул в лицо нашей власти». — «Шалико, генацвале, — тихо сказал Тамаз, — но ведь он не меньшевистский начальник, он адвокат...» — «Обойдемся без буржуазных адвокатов!» — жестко сказал Шалико. Тамаз теребил воротник старого поблекшего гимназического кителя. Щеки его покрылись красными пятнами. Он спросил с трудом: «А как же вы будете бороться с преступниками?» И, прищурившись, уставился в глаза бывшему приятелю. И Шалико уловил горькую иронию в его вопросе и в этом прищуре. «При социализме не будет преступников, ты напрасно улыбаешься, Тамаз». — «Вы их расстреляете?» — спросил Тамаз. «Мы будем проводить разъяснительную работу, — буркнул Шалико, — а надо будет, — и кокнуем. А что? Твоего отца ведь выпустили? Чего же еще?»

Спустя несколько дней стало известно, что адвокат Басария вместе с семьей переехал в Батум. И перед Шалико все время возникал облик поверженного Тамаза и его отца, благополучно царствовавшего в меньшевистские времена и произносившего пламенные речи в поддержку социал-демократической власти. «Вот и накричался», — подумал Шалико, но радости не было. Пытался забыть — не получалось. А тут еще Володя, старший брат, почетный революционер: «Вы что, рехнулись?! Какая подлость — изгонять грузина со своей земли! Сколько вы выгнали к чертовой матери!.. Теперь этого?.. С кем останетесь?..» — «С народом», — сказал Шалико. «С народом? — крикнул Володя и выпятил брезгливые губы. — А вы с народом посоветовались?» — «А с народом не всегда надо советоваться, — сказал Шалико примирительно, — он может не понимать, что ему сегодня необходимо. Завтра поймет, — скажет спасибо...» — «А где ты видишь народ?» — спросил Володя. Шалико широким жестом

указал за окна: там маячили отдельные прохожие. «Дурачок... — рассмеялся Володя, — это население!..» И вновь закричал: «А вы такие же невежды, как ваш Ленин!..» Только вмешательство мамы предотвратило катастрофу. Шалико не сердился на старшего брата, но после этого разговора образ несчастного соученика укрепился в сознании, и в одну из отчаянных минут он даже намеревался броситься в Батум, найти Тамаза и обнять его и наговорить каких-то теплых слов, уткнувшись в плечо, и вот уже собрался, но ему рассказали свои люди, что семейство Басария с помощью контрабандистов бежало через турецкую границу. «Равкна...» — подумал Шалико, но позабыть не мог.

Проходили годы. Легкое чувство правоты потяжелело, высокомерие победителя потускнело, потерялось, словно старая одежда, порастратилось. А поверженный образ Тамаза так и остался.

Ванванч, конечно, ни о чем таком не догадывался, вглядывался в папочкины глаза, жадно улавливая каждую новую волну его расположения и любви. И он ну уж никак не мог предположить, что в восемьдесят втором году, через шестьдесят лет, эта история как-то аукнется в его собственной жизни.

А тогда, в начале двадцатых, как-то уж все само собой стало складываться удачно и даже счастливо: все потянулись вслед за Мишей из Кутаиса в Тифлис, потому что всем нашлось место в столице. Ну только Саша остался в Батуме, чтобы не дразнить гусей, да аполитичная хохотушка Маня, отколовшись, отправилась в Москву, где устроилась в радиошколе и влюблялась в русских мальчиков, пока ее не покорила Алеша Костин, милый, добрый московский инженер, очарованный этой темпераментной кутаисской девушкой, краснощекой, крепкой и не сводящей с него восхищенных глаз. Маня была для него плодом диковинным, грузинским, и он полюбил эту маленькую страну.

А Шалико трудился в тифлисском городском комитете партии, жил в партийном общежитии, иногда ночевал у мамы. Она кормила его, укладывала отоспаться, а сама торопливо отстирывала его пропотевшую гимнастерку и вздыхала от предчувствий и, разглядывая своего взъерошенного, худенького, обремененного непонятными ей страстями сына, победоносно улыбалась, вспоминая мрачные пророчества Володи. А он говорил ей с придыханием, как обычно презрительно выпячивая нижнюю губу: «Скоро, вот увидишь, все твои большевики вознесутся в мягкие кресла и начнут подражать тем, кого они свергли, придумают себе расшитые золотом мундиры и будут командовать пастухами и рабочими...» Она победоносно улыбалась, потому что его пророчества не сбывались: шли годы, но мундиров, шитых золотом, не было, а были синие, белые и серые косоворотки, и потертые пиджачки, и тревога в глазах, и растерянные лица.

Но тревога и растерянность вдруг приоткрыли ей некую тайну, которая не то чтобы наглухо была от нее укрыта, а просто существовала сама по себе, ее не касаясь. А тут коснулась. Ей стало стыдно своей недавней победоносной улыбки, и слова Володи, казавшиеся тогда бредом, приобрели конкретный смысл.

Потом, уже в середине двадцать второго года, Шалико забежал к матери однажды, сопровождаемый строгой красивой барышней с продолговатыми карими глазами. Она была молчалива, неулыбчива и стеснительна. Лизе понравилась ее точеная фигурка и каштановые волосы, расчесанные на прямой пробор, и то, что она была в серой грубой юбке, в голубой выгоревшей блузочке с закатанными рукавами. И все это, старое, выгоревшее, грубое, выглядело вполне сносным и даже ладным в сочетании с молодостью, с миндалевидными глазами, с легким загаром на юном лице. Это Лизе понравилось. Еще Лизе понравилось, как эта барышня себя держала. В отличие от весьма многих барышень она не старалась понравиться, приглянуться, произвести впечатление, для чего быгодились ее не совсем обычные глаза и приятные, слегка опущенные пунцовые губы. Как легко было бы улыбнуться и согласно поддакивать маленькой женщине с серыми глазами и открытым, усталым, сердечным лицом. Но барышня была молчалива, сдержанна, хотя и весьма благосклонна. Кроме того, Лизе

показалось необычным поведение ее двадцатидвухлетнего сыночка. Он как-то немного отстранялся от своей знакомой, как-то ее не замечал, что ли, не придавал ей значения. Не то чтобы он ее игнорировал, а просто подчеркивал всем своим видом привычную будничность их отношений.

В этой кратковременной встрече Лиза все же успела заметить в барышне еще несколько второстепенных, но многозначительных деталей. Она, например, когда Лиза предложила ей сесть на старинный, покрытый черным лаком стул, не принялась учтиво рассыпаться в благодарностях, а просто села, медленно преодолев расстояние от дверей до стула с высоко, по-царски вскинутой головой, села и руки положила на колени. «Как на троне», — подумала тогда Лиза. И протянула ей блюдечко с виноградом, ожидая, что гостья, как и все подобные гости, пробормочет что-нибудь вроде: «Ах что вы, что-то не хочется...» Но юная гостья сказала: «Ой, как хотелось винограда!..» и зачмокала, и впервые позволила себе улыбнуться.

Представляя ее матери, Шалико сказал мимоходом: «Это наш товарищ». Товарища звали Ашхен.

5

Слились две реки — грузинская и армянская — перемешались их древние густые воды, не замедлив течения жизни, не нарушив привычных представлений о ней. Впрочем, ничего необычного в том не было, ибо Володя, старший сын, еще до бегства в Швейцарию тоже облюбовал себе армянку с анархистскими склонностями. И Лизу теперь взволновал не цвет

крови, а рука этой внезапной барышни, протянутая к худошавому, насмешливому ее отпрыску, мягкая рука, покрытая слабым сливочным загаром.

«Вайме, — подумала Лиза, — и Шалико тоже!» И с раскаленного балкона всматривалась, как они медленно удалялись по вымершей знойной улице, что-то обсуждая. «Наверное, меня...» — подумала Лиза, всматриваясь. Ей нравилась походка Ашхен, а сын был сильно возбужден и резко жестикулировал... Лиза приготовилась к скорым переменам. Степан печально улыбался со стены.

Затем время ускорило свой бег, пространства сузились, и лошади, влекущие мой экипаж, понеслись галопом. В течение каких-нибудь двух-трех месяцев все и завершилось легким, ни к чему не обязывающим ритуалом, распиской в толстой тетради, похожей на насмешку над пышным многословным, многозначительным церковным торжеством, и наступила новая жизнь. Нет, мужем и женой они себя не числили, а были в собственных глазах и для друзей все теми же товарищами по партии, будто бы призванными этой партией для продолжения рода. И, естественно, никаких разговоров о любви, никакого мещанского лицемерного словоблудия.

Да, разговоров о любви не было, но я-то вижу их глаза — карие миндалевидные глаза Ашхен, в которых и приязнь, и огонь, и жажда, и глаза Шалико, переполненные восхищением от лицецерения своей юной подруги, и то, как они незаметно прикасаются один к другому, как бы случайно, как бы нехотя своими горячими ладонями — к щеке, к шейке, щекой к щеке и к губам... да, и потому мне смешны строгость их партийных губ и пространные рассуждения о мещанстве и буржуазной пошлости.

Я снисходителен к их невежеству с высоты нынешних дней, к их юному сектантству, к тому, если хотите, романтическому выбору, который они сделали, понимая его как высшую



Шалико, 1919

ступень благородного служения идеалам. Ну, конечно, «романтический» и «благородный» — это слова не из их арсенала, это мои слова, которые в те годы презирались. Впрочем, тут я ловлю себя на досадной ошибке, употребляя понятие романтический. Нет, нет, это было не романтическое ощущение мира. Идеализм юности, усугубленный обещаниями скорого рая, и прагматическая деятельность — эта странная смесь определяла их поведение и царила в их душах. Я снисходителен к ним как к собственным детям, не понимающим, что они творят. Их зыбкой грамотности хватало лишь на то, чтобы обольщаться вдохновенными лозунгами, легко объяснявшими несовершенство общественного устройства. Они были бескорыстны и горды этим бескорытием и презирали земные *блага*, следуя заветам своих лукавых вождей, но земные *блага* как-то так исподволь, незаметно подступали к ним, втирались в доверие, притворялись беспомощными и безопасными.

Им было радостно узнать, что их обоих решено направить в Москву, в Институт народного хозяйства! Они долго пребывали в счастливой лихорадке удостоенных признания, и, наверное, меж ними не раз промелькнули возвышенные слова о справедливости и щедрости нового общества, открывшего перед сыном прачки и дочерью столяра такие головокружительные перспективы. Ну, был и страх не угодить столичной профессуре, опозориться, сдаться. Ах, если б не насмешливый нрав Шалико, если б не его шутовское легкомыслие, все обернулось бы суровее и трагичнее, особенно для Ашхен, не очень-то склонной к шуточкам. А он шутил, быть может, перебарывая собственный страх или стараясь вывести ее из напряжения. Он посмеивался над строгим выражением ее лица и удачно, как ему казалось, перекроив ее фамилию Налбандян, бормотал, осклабясь, что-то такое об абалдянках, которые обалдевают перед трудностями... Она вынуждена была смеяться и демонстрировать спокойствие. Но зато он казался ей в эти минуты слишком взрослым, сильным и опытным, и ей хотелось спрятаться у него на груди, в его руках...

Накануне отъезда следовало навестить родных и друзей. После исполнения нехитрого советского обряда они были узаконены и были семьей, но упоминание об этом сами же объявили кощунством. И вот они пробыли с полчаса у Лизы, и Володя подарил им старый коричневый швейцарский бумажник, в который они аккуратно уложили свои документы и деньги. «Теперь в Москве новый генсек, — сказал Миша, — он любит «киндзмараули» и не любит возражений, учтите». Коля смеялся и спрашивал у Ашхен: «Вайме, Ашхен, куда ты едешь? С кем?! С этим?..» Оля расцеловала отъезжающих и сказала с печалью: «Галактион немного нездоров. Этот поцелуй от него...» И все опять, конечно, поняли, что подразумевалось под нездоровьем. Затем начались уже настоящие тифлисские поцелуи и объятия, полные глубокого значения и смысла и такой пронзительной любви, которая никогда не забывается. Они торопились; предстояло много визитов. Уже выходя из квартиры, Ашхен обернулась и сказала горестно застывшей Лизе: «До свидания, мама».

Я вижу, как они идут по Тифлису: по Лермонтовской, вниз к Майдану, туда, где дом Степана и Марии, и старый облезлый павлин маячит на осыпающемся кирпичном заборе, и он квохчет и ждет привычных подношений. Этот дворик, мощный кривым булыжником, открывающийся за деревянной калиткой, вытянутый дом с опоясывающим деревянным балконом и единственный этаж, бельэтаж, как принято его называть... На балконе — двери к соседям и, наконец, их дверь, и вы туда входите. Вот комнатка, в которой еще нет знаменитого шкафа с аистами, но стол посередине, тахта под ковром, по которой разбросаны мутки, несколько стульев и дверь в соседнюю комнату, в которой железная кровать с узорчатыми грядушками и старый облезлый шифоньер. На окнах — металлические прутья от воров, они с такими интервалами, чтобы не пролезло тело, но свободно вплыла бы, например, глиняная банка с утренним мацони.

Степану нравится его новый грузинский зять, стройный, веселый и одновременно почтительный, и очень свой, очень. И ему приятна эта пара — их странные отношения, их открытость, простота. Он только никак не может понять, почему они должны ехать куда-то в тартарары, к чертовой матери, в какую-то Москву, это где-то в России. «Сколько ехать?» — спрашивает он. «Четыре дня и три ночи», — говорит Шалико. «Коранам ес!» — вздыхает

Мария. «Что, в Тифлисе места нет?» — спрашивает Степан с недоумением, но где-то в глубине души ему все-таки нравится эта затея: дети поедут в большой город учиться — это, в общем, здорово! И у зятя старший брат — большой партийный человек, и он, конечно, им будет содействовать. Учиться — это хорошо, думает Степан, может быть, думает он, Ашхен станет доктором или учительницей, и тут же понимает безнадежность своих фантазий, и сердится на себя самого. «А где вы там будете жить?» — спрашивает он мрачно, но Шалико смеется. «Все будет хорошо, папа, — говорит он, — там о нас позаботятся».

Степан думает, что все как-то переменялось, трудно понять, и эти совсем еще юные, глупые, ну просто шантрапа, куда-то едут, кто-то их посылает, и где-то там кто-то будет о них заботиться... И ему мучительно трудно соединить гордость за их взлет и сомнения в справедливости этого взлета, и тревогу: куда их несет?! И он смотрит на Марию, на ее плотно сжатые губы и с трудом сдерживает глухое раздражение: могла бы улыбнуться, не демонстрировать свой ужас. И он смотрит на дочь, и его начинает раздражать, как она сидит на стуле, как ни в чем не бывало, откинув голову, словно не ей предстоит дальняя дорога и, черт его знает, какие там надежды и кто будет беспокоиться, кому они нужны?..

А Шалико улыбается. На нем черная косоворотка, и черный чубчик высоко вздернут. «Все будет хорошо, папа», — говорит он мягко, по-домашнему. А Степан говорит, глядя на Ашхен: «Там ведь надо по-русски разговаривать, по-русски» — «Я уже умею говорить», — вдруг улыбается дочь и краснеет, и смотрит на мужа. Рыжий голубоглазый губастый Рафик подталкивает Шалико под бочок, демонстрируя свою приязнь. «Приедешь к нам, Рафик?» — спрашивает Шалико. У Ашхен внезапно влажнеют глаза, кончик носа заостряется и шевелятся скулы, словно от кислого. «Ашо-джан, перестань!» — говорит Шалико и касается ее щеки ладонью.

Они идут по улице, и Мария сквозь решетку окна машет им круглой ладошкой. «До свидания, мама!» — говорит Шалико.

И вот он наступил, тот ранний летний вечер 1922 года, совсем ранний, где-то на грани с полднем, еще весь в ярком свете, и обшарпанные стены тифлисского вокзала не воспринимались трагически: среди всеобщей разрухи это было не самое ужасное, тем более что уже пестрели там и сям самодельные прилавочки под дырявыми тентами, где суетливые и слегка ошеломленные открывавшимися возможностями нэпманы торговали напропалую уже позабытой снедью — не дешево, но тем не менее... И фруктами, и домашними колбасками, и свежим чади, и хачапури, и разливали по кружкам бордовый гранатовый сок, и соблазняли невообразимыми по форме и аромату пирожными; я уже не говорю о вине и чаче, и все это — вокруг доведенного до последней стадии умирания вокзального здания, среди метущихся, истошно орущих пассажиров и невообразимого мусора под ногами, и все это — словно поединок между разрухой и созиданием, между жизнью и смертью — нечто отчаянное, судорожное и последнее.

Их провожали Оля и Галактион. С чемоданом, мешком и сумкой, набитой нехитрой снедью, откуда высовывалось горлышко бутылки с домашним ткемали, они пробирались к перрону, перешагивая через лежащих и сидящих, через груды застарелого мусора, морщась от дурных испарений и от непрерывного гула нервных голосов. Шалико нес чемодан. Галактиону достался мешок, а право на сумку, уже сойдя с фаэтона, Ашхен и Оля долго, по-тифлисски делили между собой, но Ашхен не смогла уступить старшей и хрупкой золовке, и она одержала верх, и победоносно задрала голову, потащила сумку. «Галактион, — то и дело спрашивал Шалико, — ты не устал?» — «Нет, нет, — утешал его Галактион, — я еще не то умею, генацвале!»

Они протиснулись на перрон. Длинный печальный поезд на Москву был уже подан. Он состоял из множества товарных вагонов, прореженных несколькими старыми, допотопными, выцветшими пассажирскими... Публика с ревом атаковала состав. Теплушки были переполнены. Самые смелые и рискованные облепили крыши. Они остановились у предназначенного им вагона. На ступеньках один на другом устроились люди. Из дверей вагона выглядывал испуганный проводник. Вещи были сгружены на платформу. Шалико попробовал

подойти к лестнице вагона, но его тотчас же отпихнули ногой. «Не стыдно?!» — крикнул Галактион. «Иди, иди!..» — ответили ему. Оля положила ему на плечо свою тонкую руку. У людей, вцепившихся в ступеньки, были искаженные отчаянием лица. «Нам надо пройти в вагон», — безнадежно сказала Ашхен. «Иди сюда, девочка!» — крикнул один из сидящих и указал на свои колени. У Шалико задвигались скулы, и он рванулся к насмешнику, как вдруг кто-то остановил его сзади. «Лаврентий?! — удивился Шалико. — Откуда ты?» — «Я погрузил в тот вагон мою сестру, — сказал улыбаясь Лаврентий, — и увидел, что обижают моих друзей».

Они были знакомы. Этот молодой чекист становился уже достаточно известным. Лаврентий был невысок, строен, но не худ. Ранние залысины венчали крупную голову. Легкий румянец расплывался на белых упитанных щеках. Влажные губы улыбались, и в карих, слегка выпуклых глазах затаился восточный бес, замаскированный легкомысленной небрежностью. На нем были потускневшие офицерские галифе, вправленные в мягкие сапожки, летний френч и бывшая офицерская фуражка. Он смотрел на Ашхен. «О, Ашхен, — сказал он с искренним расположением, — куда тебя несет, дорогая? Кому я буду рассказывать анекдоты и по ком вздыхать? Решение — постановление! Какую женщину вырвали из нашего сердца! Клянусь мамой, брошу все и уеду в Москву! К черту! Шалико, ты что молчишь? Я не прав? Мало того, что ты увел ее у нас, ты теперь увозишь ее!.. Ашхен, клянусь мамой, ты пожалеешь!..» Ашхен усмехнулась и покраснела. Лаврентий внезапно ухватил мешок и принялся расталкивать им, как тараном, каких-то старух. «Осторожно, гражданки! Извините... Еще вот так... Минуточку... Ты тоже отойди, подвинься, я кому сказал! Вот так...» — «Не надо, не надо... — попросил Галактион, — не надо толкать, пожалуйста...» — «Але!.. — крикнул Лаврентий проводнику, — а ну-ка давай, давай!» — «Что хочешь?» — спросил проводник. «Давай, очисти проход!» — и гладкой ладонью подкрепил свои притязания. «Ээээ, — сказал кондуктор, — не видишь, что делается?» — «Идиот, — рассмеялся Лаврентий, — не понимает, с кем имеет дело». Он оставил мешок, одернул френч, поправил фуражку и двинулся сквозь толпу по перрону. Через минуту вернулся в сопровождении красноармейского патруля, и едва качнул своей ладошкой, как красноармейцы бросились скидывать людей, устроившихся на ступеньках.

Собралась толпа. Кто-то крикнул: «А ты кто такой?!» — «Потом объясню», — улыбнулся Лаврентий и с мешком полез в вагон, за ним Ашхен с сумкой, затем — Шалико с чемоданом. Галактион стоял совершенно потерянный. Оля повисла на его руке. Толпа ревела. С верхней ступеньки Лаврентий сказал, недобро улыбаясь: «Дорогие, потом все объясню».

В вагоне было тихо и душно. Проводник дрожащими пальцами ощупал их билеты и повел в глубину. Они стали обладателями двух пустых деревянных полок. «Уф, — сказал Лаврентий, — что бы вы делали без меня? А?.. Этот мерзавец жрал чади с сыром, когда я в подполье рисковал своей жизнью! Теперь он спрашивает, кто я такой...» — «Как-то все это нехорошо», — сказала Ашхен и посмотрела на мужа. Он молчал. Лаврентий сказал: «Ну что вы дуетесь? Ну остались бы на перроне с большим носом... Я тоже добрый и благородный, но ведь надо понимать обстановку... Они же полные психи: или ты, или они, разве не так?..» Шалико пожал плечами. Ашхен сказала отрешенно: «Да, да, конечно, Лаврентий, спасибо...» Он махнул рукой и пошел к выходу. Затем резко вернулся, поцеловал Шалико, едва прикоснувшись к его щеке носом. Обхватил Ашхен. Она подставила щеку. Он шутливо застонал и закрыл глаза. Она стояла красная. Он пошел к выходу, снова махнул рукой. На мгновение обернулся, сказал: «Смотрите у меня, хорошо учитесь!» — и погрозил пальцем. И исчез, даже к окну не подошел, впрочем, подойти было и невозможно — толпа забила весь перрон. Там в толпе стояли Галактион и Оля. Шалико опустил раму окна, и рев толпы ворвался в вагон. Шалико рассмеялся и сказал: «Помоему, он в тебя влюбился, а?» — «Такие мокрые губы, — растерянно сказала Ашхен, — посмотри: вся щека мокрая».

Когда поезд, наконец, тронулся и Оля с Галактионом исчезли в толпе, Ашхен вытащила из мешка два самодельных одеяла из овечьей шерсти, две подушки, устроила постели на полках, с армянской дотошностью подбила свисающие края...

...И этого, конечно, Ванванч тоже не знал, ибо все это происходило до его жизни, в ином мире, где его даже не ждали, а так, какие-то смутные надежды вспыхивали время от времени перед папочкой и мамочкой, пока они медленно тащились в душном и грязном эшелоне, впервые, хотя бы из окна обозревая неведомые просторы Украины и России и видя исковерканную войной землю, кое-где залатанную свежей жизнелюбивой неумолимой травой.

Затем на четвертые сутки они вывалились из смрада и грохота и, раздавленные громадой Москвы, кое-как, не воспринимая собственных жестов и поступков, по какому-то наитию, нашли свое место в партийном общежитии, где постепенно и небезуспешно начали приходить в себя, зализывая раны, поражаясь, восхищаясь, отчаиваясь, с умилением и тоской вспоминая привычное ленивое тифлисское ароматное пространство и лица близких. К счастью, ссадины и ушибы рубцевались по молодости лет стремительно, а к осени те, что должны были о них заботиться, и в самом деле о них не забыли, и они, сжимая в руках бумажное и беспрекословное право, возникли на улице со странным названием «Арбат», вошли в дом 43 и вселились в квартиру 12 на четвертом этаже большого грязно-бежевого дома.

В квартире, о которой вам уже известно, им выпала честь обладать двумя комнатами, расположенными в разных концах длинного коридора. Им пришлось постигать новую коварную науку коммунального сосуществования. Им нужно было преодолеть после тифлисского соседства радушия, открытости и приязни непривычную замкнутость и отгороженность. Нет, не враждебность, упаси Бог, но странную отчужденность и даже холодок, и будто бы отсутствие всякого интереса к вашей жизни.

Они старательно обучались в своей академии новейшим политическим и экономическим искусствам, а по вечерам усваивали жесткие незнакомые навыки коммунального житья. Затем навалилась зима, и их ничтожные южные одежды не справились бы с ее бесчинствами, когда бы не молодость, не надежды да не любовь.

Из Тифлиса приходили редкие письма, переполненные тревогой и тоской. Ашхен с головой погрузилась в русское море и уже сносно объяснялась и читала запоем. Она огорчалась, если чего-то не могла понять, или когда Шалико, а может быть, кто-то из новых приятелей ловили ее на ошибках в произношении. Это море представлялось ей громадным и бескрайним, и чем дальше, тем бескрайнее. Его величие поражало ее и захватывало дух. И это было для нее открытием. Еще одним открытием было проникновение в их жизнь Манечки — сестры Шалико и ее мужа Алеши Костина. Они жили на Валовой улице на углу Зацепы в коммунальной же квартире, в одной комнатке на север. Союз их был горяч. Это было редкое и удачное слияние грузинского темперамента и российской мягкости и великодушия. Ни один из огней не подавлял другого, хотя ароматы сунели, грецких орехов и чеснока в комнатке преобладали. И, конечно, все начиналось с привычного восклицания: «Как ты хорошо выглядишь!», в чем успел понатореть и белобрысый Алеша.

От их дома до Арбата следовало ехать на букашке, то есть на трамвае «Б», а там уж от Смоленской площади и рукой было подать до жилья наших новоселов.

Следующим открытием для Ашхен стала Изольда, Иза, студентка с исторического факультета. Ашхен попросту влюбилась в эту тоненькую девочку с загадочной улыбкой, дочку московского врача. Сначала она влюбилась в ее глаза. Это были два серых влажных искрящихся глаза, уставленных в собеседника, но без наглости или вызова, а с участливым интересом и сердечным пристрастием. Перед этими глазами нельзя было притворствоваться, лукавить, скрытничать или, пуще того, предаваться пустым ненатуральным искушениям. Среди прочих свойств в ее глазах умещалось достаточно иронии, что, кстати, проявлялось и в речи, украшенной грассирующими, удивленными интонациями. Затем Ашхен была покорена ее пристрастием к знанию, ибо книги в ее руках выглядели живыми существами, озабоченными ее судьбой и сопутствующими ей с завидной преданностью.

Когда Ашхен и Шалико впервые вторглись в докторскую квартиру Изиного отца, может, и не слишком просторную, все увиденное показалось им столь фантастическим, что Изе пришлось долго приводить их в чувство, онемевших от неправдоподобного обилия книг. И дочери

столяра и сыну прачки показалось, что даже стены этого дома выложены из книг, что отсутствует мебель, а вместо нее — тома в потертых захватанных обложках и в тисненном золотом коленкором мундирах.

Когда они пили чай на уголке большого круглого стола, раздвинув книги, Ашхен с удивлением увидела перед собой простой граненый стакан и фарфоровую чашку с отбитой ручкой и тут же вспомнила свою старшую любимую Сильвию, которая, соорудив свой новый дом, уже хорошо различала тонкости саксонского фарфора или кузнецовского фаянса и умела, умела любоваться тускловатым, неброским, но благородным посвечиванием их глазури, и любила, любила подолгу вертеть перед глазами эти хрупкие сосуды, вслушиваясь в их загадочный звон и приоткрыв от удивления пухлые губы.

Из докторского дома тифлисские молодые люди уходили обычно со множеством книг, которыми щедро и непременно нагружала их Иза, и Ашхен впивалась в них, многого не понимая, досадуя, и плача, и проникаясь к ним день ото дня трепетным и счастливым пристрастием.

Доктор был вежлив и даже мил с этими внезапными большевиками, говорящими с кавказским акцентом, но он двигался вокруг них настороженной походкой, словно на цыпочках. Их наивная страсть к справедливому переустройству мира выглядела трогательной, но беспомощной, а непререкаемые восклицания и лозунги предвещали возможные неожиданности. Доктор был воспитан на либеральных идеях, но предшествовавшие кровавые события выработали в нем достаточно горечи и скепсиса, чтобы не обольщаться возбужденными фантазиями и не доверять суевливым стараниям осчастливить человечество. Однако при этом он не испытывал большой охоты делиться своими чувствами и предчувствиями, а подобно дочери склонял голову, насмешливо растягивал губы и кивал, и даже поддакивал, и даже говорил: «Несомненно», — подобно Галактиону, однако без галактионовского ужаса в глазах, а с улыбкой и едва заметным сожалением.

Москва уже вливалась в кровь. Не то чтобы она просто окружила их своим воздухом, серой громадностью, ставшим уже привычным извозчицким хамством и всякими не умерщвленными до конца интеллигентскими вспышками духа и слова, но этот поток проникал в кровь, размещаясь в ней органично и прочно.

Приближался день появления на свет Ванванча, не грезился, а был вполне ощутим и реален. Весенние ароматы, расположение светил, все, все предвещало это удивительное событие, и двадцатилетняя Ашхен, краснея и досадуя, пыталась примирить в себе сладостные материнские инстинкты с уже впитавшимися в кровь железными представлениями о несовместимости этих ничтожных биологических слабостей с великой борьбой за счастье мирового пролетариата.

«Ашхеночка, — утешала ее Иза, тараща серые восхищенные глаза, — опомнись! Это же прекрасно: будет маленький Шалико!» Но Ашхен, жалко ей улыбаясь, чувствовала себя предательницей общего дела. И с растерянным Шалико внезапно стала строга и иногда исподтишка с удивлением на него поглядывала, недоумевая, что может быть и такое мелкобуржуазное отступничество. «Какая прелесть!.. — кричала Манечка. — Слушай, Ашхен, обязательно должен быть мальчик, я знаю!» — «Ээээ, — говорила Ашхен с отцовскими интонациями, — ну чему ты радуешься? Этому, да? — и тыкала пальцем в округлившийся живот. — Столько дел, такая жизнь напряженная, а тут это...» — «Не болтай глупостей! — хохотала Манечка, у которой пока не было детей. — Разве без этого можно?» — «Ээээ, — досадовала Ашхен, — оставь, Маня... Разве *это* сейчас нужно? Это?!» — и снова касалась живота.

И так с этим вздувшимся своим позором шла она в январе за гробом Ленина, не утирая обильных слез и в отчаянии ломая руки, злясь на потухшего Шалико, осунувшегося, потерявшего дар речи, уставившего красный от мороза нос в туманное скорбное московское пространство. Осиротевшим молодым тифлисцам казалось, что их сиротство теперь окончательное и уже нет никаких надежд, и они долго не могли приноровиться к простодушным

и легкомысленным утешениям со стороны Изы, утверждавшей, что не всё пропало, не всё, не всё, и при этом еще улыбавшейся... «Не всё, не всё, не будьте наивными дурачками...»

Для Изы умерший человек с бородкой был очередным ученым, провозгласившим жесткие и недвусмысленные правила отношения к этому миру и навязывающим свои непререкаемые способы его усовершенствования, над чем можно было раздумывать и даже не соглашаться, и даже подтрунивать. А для Шалико и Ашхен это было бескорыстное, чистое и могущественное божество, наделенное силой и правом все рассчитывать за них так, чтобы им уже не надо было мудрствовать самим, а оставалось лишь действовать сообразно с его волей, в минуты слабости ощущая над собой его укор. Утрата!..

В начале мая двадцать четвертого года Шалико отвез Ашхен в родильный дом Грауэрмана на Большой Молчановке. Он вез ее на извозчике, хотя езды-то было минут пять. Он гладил ее каштановые волосы с прямым пробором и, виновато улыбаясь, заглядывал ей в лицо и видел потрескавшиеся опухшие губы. Она сидела, широко расставив ноги, вцепившись белыми пальцами в его коленку и думала только об одном: как она, совершив все это, снова станет тоненькой, стройной и легкой, и если будет девочка, ее назовут Элизабет в честь прабабушки, а если мальчик — Дорианом. «Дориан?! — сказала Иза с ужасом. — Вы что, с ума сошли? Ну, Дориан Грей — это еще куда ни шло, но Дориан Окуджава, а?..» — «А почему можно Альберт, а нельзя Дориан?» — заносчиво поинтересовалась Ашхен, и Иза закачала головкой, вспоминая, как рекомендовала этим партийцам Оскара Уайльда, боясь, что они не оценят, не так поймут, наплюют на туманные буржуазные изыски. А тут вдруг прочитали, вырывая друг у друга, восхитились этой декадентщиной и влюбились в имя Дориан... Бедный Ванванч, мог ли он предполагать всю эту предродовую вакханалию?

И, вонзая свои пальчики в горячую коленку мужа, Ашхен сказала глухо: «Нет, Дориан!» — «Конечно, конечно, — заторопился Шалико, — это так необычно и красиво. Конечно, Ашо-джан, так и будет...»

И девятого мая ночью легко и без травм родился Ванванч, нареченный Дорианом.

Дотащившаяся до Москвы из Тифлиса Мария застала внука уже в арбатской коммуналке и сменила обезумевшего Шалико. Она быстро приспособилась к арбатскому жилью, заобожала маленького Дориана и сразу же окрестила его на армянский манер Дариком. Он покрикивал, разевая громадный старушечий рот. Бесформенная голова не держалась на тонкой шейке. Нос был чрезмерно велик, губы презрительно опущены. Ашхен кормила его с недоумением и даже с ужасом: перед ней было маленькое, смуглое сморщенное чудовище, а вовсе не розовощекий херувим, каким она представляла своего первенца. «Где же крылышки? — думала она. — Где золотые кудри, голубые глазки и обворожительная улыбка?» «Нас обманули, — сказала она мужу, хохотнув, — подменили нашего херувимчика...»

Юзя Юльевна принесла фотографию трехдневной Жоржетты и показала ее удрученной Ашхен. Жоржетта была как две капли воды похожа на этого уродца. «Нос был крючком, — радостно улыбаясь, сказала соседка, — настоящая ведьма. А через год смотрите — оп-ля, нормальная девочка...» Ян Адамович по-соседски сфотографировал Дориана и подарил Ашхен букетик матерчатых цветов. «Какие люди!» — восхитилась Мария. «Ээээ, — сказала Ашхен недовольно, — люди как люди, бывшие капиталисты, подумаешь...»

Через несколько дней Ян Адамович вручил Ашхен готовые фотографии. На одной из них Мария дрожащей рукой написала: «Дорогой тете Сильвии от маленького Дориана» и отправила в Тифлис заказным письмом.

В устах Марии Дориан звучало все проникновеннее и волшебнее, однако Ашхен называла его почему-то «он» и спрашивала, например: «Он не спит?» «Пора его кормить?» А Шалико говорил: «Этот, видно, проголодался», «Пора, наверное, этого купать». Вскоре пришло время ребенка регистрировать, и Шалико в последнюю минуту, проведя горячей ладонью по круглому плечу Ашхен, спросил, коварно улыбаясь: «Слушай, может быть, назовем этого Отаром? А? Какая-то претензия есть в этом Дориане. Иза права. А? Как ты думаешь?» — «Какой ты

молодец! — облегченно вздохнула Ашхен. — Я просто умираю от ужаса...» Они вернулись домой счастливые. Перед ними лежал Отар. Он показался им прекрасным. Большой нос выглядел просто крупным и вполне пристойным, а в опущенных губах не было ничего презрительного. «Отарик!» — позвал Шалико и щелкнул пальцами перед его носом. Пораженная переименованием Мария по обыкновению воскликнула: «Вааай, коранам ес!» — и тут же чмокнула внука в выпуклый лобик.

Я надеюсь, что вы не осудите меня за этот умышленный калейдоскоп имен, в который я вверг вас не по злому умыслу или болезненной прихоти, и вы поймете, что Ванванч, Иван Иванович, Отар, Дориан, Картошина и Кукушка — в конце концов одно лицо, вовсе не претендующее на исключительность. Оно возникло в моем воспаленном сознании, как некая игра, а может быть, одно из средств связать распадающееся Время, людские судьбы и разноплеменную кровь.

Но тут Шалико внезапно был отозван в Тифлис, где его направили в политотдел только что сформированной грузинской дивизии. Две шпалы украсили его петлички. Военная форма пришла к лицу: к его пышному чубчику, к усикам и ямочке на подбородке. Он изредка писал Ашхен короткие легкомысленные письма, считая эпистолярный жанр пустым занятием, однако не забывал преподнести всякий раз какой-нибудь трогательный сигнал тоски и преданности. И он, конечно, не присутствовал в цехе Трехгорной мануфактуры, украшенном кумачовыми полотнами, где состоялись октябрины его сына. Кто придумал этот обряд — остается неизвестным. Ашхен с Ванванчем на руках вступила в цех под звуки заводского духового оркестра, игравшего не очень слаженно «Вихри враждебные веют над нами...» Станки были остановлены. Работницы стояли плотным полукругом. Пожилой представитель партийного комитета сказал речь. Он сказал так: «Мы исполняем наш красный обряд. Мы отвергаем всякие бывшие церковные крестины, когда ребенка попы окунали в воду и все это был обман. Теперь мы будем наших детей октябрить и без всяких попов. Да здравствует мировая революция!..»

А Ванванч сладко спал в своем фланелевом конвертике, не подозревая, что благодаря ему и с его помощью утверждаются новые громогласные традиции господствующего класса.

Оркестр, игравший вразнобой, не вызывал в нем счастливых эмоций. Его звучание воспринималось всего лишь как шум жизни, перемешанный с речами, смехом и отдельными выкриками. Склонявшееся над ним пунцовое лицо его мамы с карими миндалевидными глазами виделось расплывчатым пятном, когда он на миг просыпался. И когда он подрос и узнал, что его, оказывается, октябрили, он ощутил гордое чувство единственного, не похожего на других избранника, отмеченного тайным знаком. Крещеных вокруг было множество — он же был октябреным. И это, как ни странно, в позднем детстве, в отрочестве и даже в юности придавало ему в собственных глазах ощущение преимущества и даже превосходства.

Размышляя об этом событии шестидесятилетней давности, Иван Иванович никак не мог взять в толк, как выглядела эта возбужденная толпа работниц, забившая в цеху проходы меж станками. Как же все-таки они реагировали на это событие, пока он спал в своих пеленках, а юная Ашхен пунцовела, не утирая благодарных слез? Какая музыка звучала? А они все — что, кричали под нее, пели, размахивали натруженными руками, были счастливы? Или толпились угрюмо? Или иронизировали меж собой? Или кривили губы при виде непривычного и чуждого таинства?

6

...Ну ладно, пока судда дело, я возвращаюсь в тридцать второй год, в июньскую оранжевую тифлисскую духоту, сквозь которую неторопливо движется Шалико, ведя Ванванча за руку.

Две горячие руки с узкими запястьями соприкасаются и обмениваются токами. В другой руке у папы — маленький фибровый чемоданчик с нехитрым скарбом Ванванча: трусики, маечки, носочки, полосатая вязаная блузка и какой-то его собственный хлам — проводочка,

гвоздик, красная пятиконечная звездочка с военной фуражки, маленькая фаянсовая копилочка в виде совы, подаренная дедушкой Степаном, и книжка Сетона-Томпсона.

Укрываясь в тени акаций, они поднимаются по Лермонтовской. И вот, наконец, — вытянутый двухэтажный дом и знакомый подъезд, где нужно потянуть висячий проволочный треугольник, чтобы за дверью раздался звон колокольчика, и снова дернуть, и снова, и уже неистовый трезвон — это папа трясет проволочку, — и Ванванч заливается, слыша, как по лестнице, там, за дверью, кто-то топчет и выкрикивает негодующие слова... И дверь распаивается.

Тетя Сильвия в розовом халате с большими багровыми хризантемами по всему полю встряхивает каштановой прической и вклепывает папе игрушечную затрещину, а он, смеясь, обхватывает ее и целует, и тифлиссские зеваки уже останавливаются поодаль. «Сумасшедшие! — кричит она. — Разве можно так звонить! Я чуть с ума не сошла!..» И тут же принимается обнимать и тормошить Ванванча и гладить его по жестким колечкам. Они ввалились в прохладный подъезд и шумно движутся на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице.

Наконец распаивается знакомая белая дверь. Вот и комната, просторная и светлая, в которой с легкостью умещается и черный рояль слева, и возле него — черного дерева круглая, вся в диковинных выпуклых узорах тумбочка, на которой возвышается высокая лампа, основание которой напоминает Эйфелеву башню, увитую коричневой лакированной соломкой, а сверху ее украшает широкий развесистый абажур из такой же соломки, и вся она — живая, трепещущая, привычная, словно член семьи...

Затем большой старинный стол посередине и диван меж первым и вторым окном, и стеклянный шкаф меж вторым и третьим, в котором — и синеватый сакс, и зеленоватые кузнецовские тарелки, и английский фаянс, какие-то причудливые сахарницы и солонки, и хлебницы, и штофчики, и рюмочки... Затем поперек комнаты — книжный шкаф и тускло посверкивающие за стеклом книги, и этот шкаф почти разделяет комнату на большую первую и маленькую за ним спальню, это меж третьим и четвертым окнами, где две деревянные с витиеватыми лакированными грядушками кровати с тумбочкой меж ними, и на ближней к нам кровати лежит Луиза, Люлюшка, Люлю — большеротая, большеглазая двоюродная сестра Ванванча с черной челкой по самые глаза. Она старше Ванванча на четыре года. Ей двенадцать. Она родилась в гражданскую войну, что придает ей в большевистских глазах Ванванча некоторое перед ним преимущество. У нее давний спондилез — искривление позвоночника — короткая шейка, вправленная в жесткий корсет, и все тело в корсете, напоминающем рыцарские доспехи. У нее строгий режим, который осуществляется ее матерью с армянской дотошностью. Она счастлива видеть Ванванча: она любит его и как брата, и как надежного доверенного житейских тайн, и как защитника перед неукротимой матерью, у которой единственная несчастная дочь в идиотском корсете и расплывчатые туманные перспективы на ее выздоровление.

Они шушукуются вдвоем с Ванванчем, пока Сильвия и Шалико обсуждают всякие скучные непонятные взрослые проблемы и подшучивают друг над другом.

«Я не понимаю, — говорит Сильвия, — вы с Ашхен отдаете все этому государству, а сами живете, как бродяги!» — «А ты хочешь, чтобы мы хапали? — смеется Шалико и грозит пальцем. — Хороши мы будем, дорогая...» — «Ээээ, — говорит Сильвия, — абсолютные дураки!» — «Разве они дураки? — думает Ванванч. — Они же революционеры!» И спрашивает у Люлю с восхищением: «У тебя что, горб?» — «Да, — говорит Люлю, — представляешь?» — «И тебе нельзя взобраться на дерево?» — «Можно, — шепчет Люлю, — только тайком». — «А Жоржетта уже пионерка, — говорит Ванванч с грустью обделенного, — помнишь Жоржетту?» — «Подумаешь, — утешает Люлю, — и ты скоро будешь». Потом она указывает на черный рояль и спрашивает: «А помнишь Иветту?» — и посмеивается.

И тут он вспоминает Иветту. Два года назад эту шестилетнюю девочку привели сюда же в гости, и Ванванчу показалось, что если она уйдет — жизнь кончится. А она была с ним небрежна, льнула к своей маме, а он страдал, и едва услышал, что они собрались уходить, пролез под рояль, зажмурился и крикнул: «Паффф!» — «Что случилось, Кукушка?» — спросила тетя

Сильвия. «Я застрелился», — сказал Ванванч слабым голосом. «Почему? Что такое?» — крикнула Сильвия. «Потому что Иветта уходит», — прошептал он. «Вай!» — воскликнула она. Мама Иветты расхохоталась. Иветта расплакалась. Люлюшка сказала жестко: «Нечего смеяться, нечего... Это трагедия!»

Теперь он вспоминает эту девочку без учащенного сердцебиения, эту девочку, бывшую когда-то в те давние смутные времена, в другой неправдоподобной жизни.

Затем прощание с папой, которому, как обычно, некогда, но не грустное прощание, потому что впереди — игры с Люлю, Евпатория, море... новая жизнь. Он счастлив, что встретился с Люлю: она верная, старшая, любящая, потакающая, снисходительная к его случайным капризам, но пораженная многолетним недугом и сама нуждающаяся в защите, и принимающая эту защиту, его мужское покровительство, и платящая за это соучастием в его фантазиях. И нужно видеть, как вспыхивает румянец на ее пергаментных щеках, как широко распахиваются ее громадные черные глаза, как напрягается ее худенькое тельце, когда он обрушивает на нее очередную выдумку и обязательно горячим захлебывающимся шепотом: «Давай будем индейцами!..» — «Давай!» — отзывается она и косится на мать: как бы та не разгадала, не запретила бы. С Люлюшкой хорошо играть, потому что она откликается с охотой на каждое твое движение и не из взрослой снисходительности к маленькому дурачку, а по собственной воспламеняемости. Приезд Ванванча — всегда для нее праздник, всегда раскрепощение.

— Посмотри, — говорит ему тетя Сильвия и показывает в окно, — вон папа идет, помаши ему.

— Пусть идет, пусть идет, — отмахивается Ванванч, — мы уже попрощались, — и подмигивает Люлюшке и шепчет ей: «Ты можешь встать? Можешь?! Ну так вставай же!..» — Мама, я встану? — спрашивает Люлю. — Встань, встань, — говорит Сильвия, — только без резких движений.

Люлю встает. Под платьем у нее корсет. Он высовывается из ворота, упирается в подбородок и задирает ей голову. Выглядит Люлю высокомерной. «Ух ты!..» — восхищается Ванванч: сестра выше его на голову. На ней голубое короткое платьице, тонкие стройные ножки утопают в шлепанцах. «Опять ты выше меня!» — восклицает Ванванч удрученно. «Подумаешь, — говорит Люлю, — все равно ты будешь выше: ведь я женщина...» — «Ну раз ты встала, — говорит Ванванч, — давай поиграем... Жаль, что с тобой нельзя бороться...» — «Конечно нельзя, моя радость, — говорит тетя Сильвия, — Люлюшка ведь больная...» У Люлю вытягивается лицо, и нос становится острее. Тетя Сильвия берет две груши и протягивает их детям. Ванванч подхватывает ее с московским вожделием, а Люлю отворачивается. «Чемузум», — говорит она с гримасой. «Чемузум... арминда... не хочу», — торопливо переводит Ванванч с армянского на грузинский, а затем на русский. И вдруг Сильвия кричит: «Как ты смеешь! Это лекарство! Какая ты дрянь! Немедленно возьми!.. Возьми!.. Я тебе покажу чемузум!..» Люлюшка, задрвав подбородок, плачет, некрасиво разевая большой рот. «Не надо на нее кричать!» — кричит Ванванч. Тетя Сильвия тоже плачет и говорит Ванванчу тихо: «Ну что мне делать? Она такая глупая: это же лекарство... Ну что мне делать?.. У меня нет больше сил...» — «Ну хорошо, — говорит Люлю, — я съем». И берет грушу.

На фоне затененного окна, за которым — неподвижные тяжелые листья платанов и акаций, красивый точеный профиль Сильвии напоминает старинный барельеф. Короткая стрижка по моде тридцатых годов. Белая ухоженная кожа. Мягкие покатые плечи. Шелковый халат, ниспадающий подобно тунике. Царская осанка... Римлянка из невозвратных веков. Она покусывает влажные припухшие губы. Они изгибаются, придавая ее лицу в каждый миг иное выражение: то благородную погруженность в глубины бытия и вечности, то вдруг хищную сосредоточенность на какой-нибудь временной житейской корысти, то презрение к суетным соплеменникам, то детскую обиду на мир... Каких мужчин завораживало это лицо! Какие титаны были готовы на подвиги!.. Какие произносились слова!..

В разгар гражданской войны и голода она, перебирая возможные варианты, ткнула холеным пальцем в грудь своего избранника — не героя, не титана, простого врача, немолодого,

строгого, верного, надежного. Он понес ее на руках, восхищаясь и благоговей, обомлевший перед ее профилем и замороженный ее многочисленными достоинствами. Вместе с нею он обихаживал и ее отца, и мать, и сестер, и брата. С его помощью она уберегла их от военных мытарств. Он был строг и принципиален. Она — покорна и предупредительна. Она действительно была ему признательна за его молчаливое бескорыстие, а он считал, что все его успехи — дело ее рук. Она родила ему дочь Луизу и не уставала повторять, что гордится его трудолюбием и целеустремленностью. Она уважала его, но, уважая, втайне подозревала, что у нее иное предназначение. «Какое? Какое?» — спрашивала она сама себя нетерпеливо и не могла ответить.

Однако закончилась гражданская война, в Тифлис вступили большевики. Через год-два как-то все более или менее устроилось. Конечно, общественный климат стал суровее и серый дым хлынул во все углы, испарились лоск и учтивость — лишь сермяжные обновы да дурной запах, да истошные крики о справедливости, да классовый гнев. Она спрашивала у знакомых, какие главные качества в себе они ценят. Одни называли гордость, другие — трудолюбие, третьи — неподкупность, четвертые — нежность. Когда же спрашивали у нее, она неизменно отвечала: «интуиция» и при этом загадочно кривила полные губы. Ее доктор посерел вместе с климатом. Что-то жалкое и неуверенное начало проявляться в нем, что-то заурядное.

И вот уже забылась гражданская война, и запах крови стал привычен, и новые нравы поблекли в убогом карнавале свободной торговли, и эти частные магазинчики и ресторанчики успели как-то смягчить горькие и злобные души окружающих соплеменников. Теперь уже и неизвестно, кто радостно расхохотался первым, но кто-то же был... Жизнь стремительно менялась, и Сильвия уставилась своими глазищами в ее недра, втянула воздух: в нем был сладковатый привкус.

Она начала слегка приходить в себя, даже несмотря на то, что изредка появлявшийся самый старший брат Шалико — Володя разрушал ее робкие надежды. Этот почетный революционер в своей неизменной фетровой шляпе и с бабочкой усаживался в кресло, шляпу держал на коленях, брезгливо кривился и, всматриваясь голубыми глазами в ее напряженное лицо, предрекал мрачные перспективы. Тут, естественно, доставалось всем: и Ленину, ввергнувшему страну в этот кошмар лжи и предательства, и усатому уголовнику с кнутом, и собственным братьям — этим юным идиотам, строящим тюрьму на свою погибель. Сильвию пугало совпадение собственных тайных предчувствий с предсказаниями этого домашнего оракула. И ведь все сбывается, думала она, все, что он раньше пророчил, все сбывалось, все, все, думала она.

Однако жизнь не могла остановиться, и Сильвия купила в частной лавочке французское платье из маркизета и модную соломенную шляпку. Голова кружилась. Но муж был хмур. Она не могла ему втолковать, что эти детали нужны ей не из женского тщеславия, не из желания покрасоваться перед зеркалом. Она же не дурочка какая-нибудь. Это ей нужно, чтобы выглядеть в глазах людей значительней и весомей, чтобы легче было протискиваться в узкие житейские щели, чтобы ей с почтением уступали дорогу. Это ей нужно ради него самого и дочери, и ее родных... Она пыталась объяснить ему, что эклеры из кондитерской мадам Бошьян ей нужны не из пристрастия к мучному, черт бы его побрал, а потому что когда к ней заглянет, к примеру, жена большого партийного начальника и нажрется этих фантастических эклеров, с ней легче будет иметь дело... Он же сам скажет ей потом спасибо за ее предприимчивость, видя, как она разрывается. Но он был хмур и прижимист и не по скупости, а просто от элементарной нехватки средств. «По одежке протягивай ножки...» — говорил он армянский вариант этой пословицы, говорил с мрачной назидательностью, и всячески, как умел, ограждал свой дом от ее чрезмерных претензий.

Тут-то и возник Вартан Мунтиков — высокий красивый армянин в голубой шелковой косоворотке, разъезжающий по Тифлису в мягком фаэтоне, обворожительно улыбающийся хозяин процветающего модного магазина. Не надо думать, что примитивная корысть возбуждала интерес Сильвии. Но Вартан был мягок и гибок, и наслаждался ее властью, и служил ей с

размахом, щедро, с неведомо откуда сохранившимся офицерским шиком. И говорил при этом: «Диктатуре пролетариев — нет, твоей — только да!» Через месяц муж сказал Сильвии: «Я вижу, что стал тебе в тягость, что Вартан занимает твои мысли. Может быть, он тот, кто тебе нужен. Я бы хотел иметь более тихую жену, более послушную и надежную». Расстались они по-приятельски, без драм. «Мне нужна жена не такая красивая, как ты», — сказал он, вздыхая, и впервые, может быть, улыбнулся.

Она перебралась к Вартану. Вартан обожал Сильвию, обожал маленькую Люлю, обожал свое дело. Сильвия пристрастилась к опере, хотя не имела музыкального слуха и к музыке была безразлична, но уважающие себя люди посещали оперный театр, и Вартан с подобострастием и восторгом сопровождал ее на спектакли и вскоре начал напевать знакомые арии приятным баритоном.

Он был крепок, жизнелюбив и щедр. Она восхищалась им, старательно пряча случайные, неуместные, не слишком радостные предчувствия, возникающие в ее практичном мозгу. Она спрашивала его торопливым шепотом, что он предпримет, если большевики отменят эти экономические вольности, прихлопнут это все и плюнут в лицо... «Не отменят, — смеялся он, — куда им деваться, дорогая?» — «А если, дорогой?» — настаивала она. «Черт с ними, — смеялся он, — пойду работать строителем... Или убегу в Турцию... Вместе с тобой... Ну Сильвия, к чему этот бред?..»

Сильвия обожала свою младшую сестру, носящую имя царицы Ашхен, за самозабвенность в служении каким-то, пусть и не очень ясным идеалам, за бескорыстие, которого не ощущала в себе, и только здравый смысл утишал это восхищение, а затем включалось, как обычно, всезнающее предчувствие, и она вся сжималась, испуганная одержимостью сестры, и спрашивала с ожесточением: «Зачем же ты рожала, сумасшедшая? Тебе же не нужны ни дом, ни ребенок!.. Ни тебе, ни твоему мужу... Ты подбрасываешь своего сына всем! Хорошо, что я обожаю его... А Шалико? Ну на что он годится, этот легкомысленный грузин?..» Ашхен посмеивалась и говорила: «Да, мы ужасные, ужасные, а ты терпи, Сильвочка, терпи... Скоро мы построим новую жизнь...» Тогда Сильвия ожесточалась, но не потому, что была слишком искушена в тонкостях политики, а просто ее практическая трезвость не переносила большевистской велеречивости. На ее глазах эти крикливые молодые люди, желая ей добра, одним декретом прекратили начавшую было налаживаться жизнь. Все частное оказалось под запретом. С Украины долетали слухи о голоде. Не стало модных магазинов и кондитерских. Потянулись очереди за керосином. И это ведь все во имя каких-то туманных завтрашних блаженств, завтрашних, завтрашних... Наберитесь терпения, господа! Этот стремительный, захватывающий дух калейдоскоп закружился перед Сильвией, щедро подкармливая ее изощренную интуицию: я знала, я чувствовала, я предвидела!.. Вновь разрушалось (уже в который раз) только что сколоченное хилое благополучие. Благородные, чистые, восхитительные и безумные хозяева жизни гибли в междоусобной драке, обвиняя друг друга в политических грехах. Высокопоставленные братья Шалико — Миша и Коля, — от которых так много зависело в ее жизни, внезапно оказались негодными новой власти, лишились своих прав и отправились в алма-атинскую ссылку в качестве разоблаченных буржуазных националистов, и Сильвии пришлось разжать свои белые холеные пальцы и выпустить из рук эту опору, до сих пор казавшуюся надежной.

А ведь еще вчера она говорила напрягшемуся Вартану: «Ни о чем не беспокойся. Я скажу Мише, скажу Коле», — и при этом смотрела на него победно. Но вот их отправили в ссылку, и не за кого ухватиться. Остался Шалико, взлетевший на комиссарство грузинской дивизией, да далекая московская Ашхен, ставшая в Москве инструктором горкома партии. «Но ведь это так эфемерно!» — думала Сильвия. Наберитесь терпения, господа!

Ну что ж, терпения ей было не занимать. Жить-то надо? Надо же вытягивать эту больную большеротую девочку, у которой оказался превосходный музыкальный слух... Молодая пианистка Люся как-то с изумлением это определила и взялась за дело, и, едва Люлю, получив

корсет, начала подниматься с постели и двигаться понемногу, как неукротимая Сильвия засадила ее за рояль, над ней нависла Люся, и потекли гаммы и прочие упражнения.

Люся с восторгом демонстрировала Сильвии пятерню Люлюшки. Сильвия с недоумением глядела на это костлявое приспособление с длинными пальцами, но Люся говорила, что да, да, это и есть то, что необходимо, эта большая пятерня и сильная какая! Ты только посмотри... Она такая маленькая девочка, а как берет октаву! Как взрослый пианист... А какой у нее слух! У тебя, например, никакого слуха, дорогая, а у нее... Ну-ка, Люлюшка, пропой мне эту нотку, ну-ка... А голосок какой!.. И Сильвия сразу же увидела свою дочь на большой концертной сцене, в черном открытом платье с бретельками, у черного рояля и услышала восторженный гул публики. Она планировала свою жизнь, и новые страсти закипали в ней, скрашивая трагические нелепости бытия, все эти повседневные жестокие трудности.

В тридцатом году Ашхен была отозвана из Москвы. Ей поручили важную партийную работу в Тифлисе. Незадолго до отъезда случилось обстоятельство, которое несколько выбило ее из привычной колеи.

Однажды как-то засорилась кухонная раковина, почему-то никого не оказалось дома, чтобы вызвать слесаря, и Ашхен, накинув пальтишко, сама отправилась на поиски. Она спустилась с четвертого этажа и через дверь черного хода вышла во двор. Был вечер ранней весны. Снег стаял, и лужи и прошлогодняя липкая грязь украшали пространство. Она прошла к боковому двухэтажному флигелю, протиснулась по заваленному хламом проходу, вошла в темные сени. Мартовские арбатские ароматы тотчас оборвались, и повеяло чем-то кислым и тоскливым. Она нащупала дверь, обитую рваной рогожей, толкнула ее и вошла — и это кислое и тоскливое материализовалось, нахлынуло, окутало ее всю. Стало трудно дышать. Желтая маломощная лампочка в потолке почти не давала света. Какие-то невнятные голоса вырывались из комнаты. Разбитый пол в прихожей заскрипел под ногами у Ашхен. На зеленой облупившейся стене висела почему-то корзина, из которой вываливались грязные тряпки. Дверь в комнату была распахнута, и Ашхен остановилась на пороге. Перед ней в небольшой квадратной комнате стоял посередине стол, покрытый потрескавшейся клеенкой. В правом углу, почти под окном, темнела под лоскутным одеялом железная кровать. Табуретки вокруг стола располагались в беспорядке. В другом углу, на грубом деревянном топчане, свернувшись калачиком, похрапывал мужчина. Женщина с костлявыми плечами, в черном засаленном платье у самой двери вычесывала девочку лет восьми. На полу у кровати сидела девочка поменьше. У ног ее ползал малыш, отталкиваясь от пола хлипкими ручками. Облупившиеся стены казались влажными, а может, и впрямь были влажными, да и все вокруг было гнилое, ветхое, убогое: и мебель, и лица, и тряпки.

— Здравствуйте, — сказала Ашхен, стараясь дышать ртом, чтобы не чувствовать этой кислой вони.

— Здравствуйте, — сказала женщина без интереса, — чего такое?

— Слесарь нужен, — сказала Ашхен.

— А вон он слесарь, — кивнула женщина на спящего, — его теперь не добудишься... Сломалось чего? А то все слесарь, слесарь... Всем слесарь нужен.

У нее было изможденное лицо и глубоко запавшие глаза, и губы были сложены небрежно. «Пьяница и хамка», — подумала Ашхен с отвращением и сказала жестко: — Слив засорился, понятно?

— Вась, а Вась! — громко позвала женщина и толкнула девочку: — Буди отца!

— Не буду, — захныкала девочка и тут же получила затрещину.

— Ну ладно, — сказала Ашхен, — не надо будить. Пусть завтра придет в двенадцатую квартиру, — и двинулась из комнаты.

— Да погоди ты, — сказала женщина примирительно, — погоди... Васька, к тебе пришли! — и снова толкнула девочку. — Ну, кому сказала! — но девочка выбежала в прихожую, и женщина сама двинулась к топчану. Ашхен смотрела на ее спину. Со спины она выглядела даже молодо, когда ловко обходила нелепо расставленные табуретки, и голые ноги из-под короткого

платья выглядели стройными, и непричесанные космы на голове... «Ведьма», — подумала Ашхен.

Что же угнетало ее? Неужели лицемерие тесноты и бедности? Будто она сама с рождения не жила в тесной комнате вповалку с братьями, сестрами и родителями. Это ей было хорошо знакомо, все вплоть до старых выцветших тряпок и стоптанных башмаков. Или это кислое пронзительное удушающее облако, висящее неподвижно под потолком и в комнате, и в прихожей? Однако не это перехватило ее дыхание, а что — она не могла понять, и только следила остановившимся взглядом за происходящим в комнате, как эта женщина тормозит Василия, как он отмахивается от нее, и малыш ползет в ту сторону по грязному занозному полу, и другая девочка, младшенькая, откусывает от черной горбушки и смеется беззубым ртом. Ашхен услышала, как мужчина спросонок грязно выругался, и побежала через прихожую к двери, а там по захламленному проходу, и только во дворе, хлебнув вечернего мартовского воздуха, почувствовала облегчение.

Потом, уже в квартире, узнала от Ирины Семеновны, что слесарь Васька Социлин — хороший слесарь, ну, пьет, конечно, а кто ж не пьет?.. А жена его, Верка, в столовой посуду моет, и по домам, кто попросит — моет, и две девки у них — Машка и Нинка, а младший — то Витка два годочка, не, не девочка — мальчик... Ашхен выслушала и сказала, что у них жуткая грязь и бедность, просто ужас какой-то. «Какая ж бедность? — сказала Ирина Семеновна. — Как все живут, вовсе и не бедность... бедность... Эвон у них и комната и кухня... Какая же бедность?»

В разъяснении этом было много резона, но чувство тревоги и ужаса не утихало, и Ашхен все пыталась понять, в чем дело. И уж, конечно, не железная кровать с проржавевшими грядушками, и не почерневшие от времени табуретки так разволновали ее. Ведь и у нее в этих комнатах, в бывших комнатах Каминских, тоже стояла не ахти какая мебель: и этот квадратный стол, и буфет с цветными стеклами, из которых уцелели лишь несколько, и тахта, сколоченная наскоро случайным ловкачом... Ну, может быть, письменный стол от Каминских, покрытый синим истерзанным сукном, да шкатулочка из карельской березы? И четвертый этаж в отличие от того, полуподвального?.. А сухие стены без влажных потеков?.. А чистый, кудрявый, кареглазый Ванванч, старательно вырисовывающий на бумаге свои фантазии, а не тощая смеющаяся Нинка с губами, перепачканными жеваным хлебом?.. «А Ниночка хорошая девочка?» — спрашивает Ашхен. «Очень хорошая, — признается Ванванч, — она добрая и веселая». И Жоржетта так же возвышенно оценивает шестилетнюю Нинку Социлину с высоты своих семи лет.

Но тревога не покидала Ашхен. Впрочем, не столько тревога, сколько неясное ощущение вины... Хотя какая тут вина? А? Какая вина?! И Ашхен пожимала плечами.

Так она и приехала с этими ощущениями в Тифлис, где ей была поручена важная партийная работа. Сильвия сокрушалась: как будет жить эта неправдоподобная семья — без жилья, без привычных бытовых мелочей? Ну не в гостинице же «Ориент», где временно обитал Шалико, не придавая значения своему одинокому быту. Но Сильвии пришлось недолго сокрушаться, ибо все сказочно устроилось, и дорогие ей люди без промедления въехали в трехкомнатную квартиру на Грибоедовской улице, и какие-то заинтересованные и могущественные силы оставили квартиру необходимой казенной мебелью, а Мария почти переселилась сюда, предоставив своего Степана самому себе, и утвердилась на новой кухне, приспособившись к тут же приобретенным керосинкам и примусам, где Ванванч, распрощавшись с Арбатом, погружался в тифлисскую жизнь. Может быть, тогда и ощутила впервые Сильвия непоказное могущество этих нешуточных хозяев жизни, и что-то неясное промелькнуло в душе: то ли восхищение, то ли предчувствие грозы. Однако ее практические механизмы сработали мгновенно, и она подумала: рука судьбы.

Погруженная в свои партийные дела, Ашхен, не умеющая отличить, как это говорится, чая от кофе, в житейском смысле полностью доверила старшей любимой сестре и себя, и Ванванча, и всю эту тусклую, однообразную житейскую суету. И Сильвия тотчас же принялась

обучать ее искусству существовать. Она внушила ей мысль о необходимости немедленного музыкального воспитания маленького Ванванча, и Ашхен тащила его в оперный театр. Это выглядело таким образом: она приходила после рабочего дня и, не поднимаясь домой, кричала снизу: «Куку!», и Ванванч, уже соответственно приодетый бабусей, скатывался со второго этажа и с мамочкой — в оперу! Благо, было под боком, благо, было постоянное место в ложе, и мамочка, хоть и с отрешенным лицом, но все же — рядом, теплая и красивая. А тут уж и «Конек-Горбунок», поразивший воображение, а затем «Чио-Чио-сан», а потом — и «Кармен», и «Фауст», и, конечно же, божественный «Евгений Онегин», который затем ежедневно разыгрывался с приятелями под управлением, конечно, Ванванча.

Его приятели, Бичико и Мери, брат и сестра, были посменными участниками представлений. Мери изображала то Ольгу, то Татьяну, Бичико — то Онегина, то Гремина, но уж Ванванч неизменно оставался Ленским. И как они кричали с перекошенными лицами, когда назревала дуэль, а затем звучал условный выстрел, и Ванванч падал бездыханным...

В этой же квартире было отпраздновано новоселье. За большим столом расположились хозяева. Впервые вместе за одним столом: Шалико и Ашхен, и Мария, и Сильвия с Вартаном, и Ольга с Галактионом, и почетный гость — давний знакомый Лаврентий, который нынче взлетел на головокружительную высоту, так что внизу его ждал в кадиллаке — шофер, а в прихожей — рослый охранник или ординарец. «Я на минуточку», — сказал он, входя в квартиру, и сел за стол. Они так и не сблизились, но давнее знакомство как-то обязывало, да он попросту и напросился, встретившись, узнав о новоселье. И вот явился. Пил кахетинское, раздаривал комплименты Ольге и Галактиону прочитал наизусть его стихи. Хохотал, с горечью посетовал, что Миша и Коля откололись от народа, это же предательство, как это горько сознавать, Сосо очень огорчен, он там, в Москве, очень огорчен. Его белое лицо начало понемногу краснеть, наливаясь. Потом он поклонился Марии и сказал: «Когда я вижу ваши глаза, мне хочется сказать вам: «Мама!», а потом по-грузински: «Дэда!», а потом по-армянски: «Майрик!»» Все было вполне пристойно и в духе застолья, но какие-то волны распространялись меж сидящими, и Шалико казалось, что это не ровный свет электрической лампочки под оранжевым абажуром, а пламя свечи, колеблющееся и неровное, окрашивает все лица, и поэтому нельзя угадать их подлинное состояние, словно они одновременно и смеются, и плачут, и озираются по сторонам. «Вы только посмотрите на них, — крикнул Лаврентий с придыханием, — на этих двух сестер, на армянок этих! Какие они красавицы, клянусь мамой! — и слегка коснулся прически Ашхен, а другой ладонью — плеча Сильвии. — Ты счастливчик, Шалико: какая у тебя жена!» — и мрачно уставился на Вартана.

«А ты кто такой? А ты кто такой, что у тебя такая жена? А? Почему тебе повезло?.. Ты что, великий полководец или поэт?..» — «Я маленький продавец», — с трудом рассмеялся Вартан. Лицо Лаврентия расплылось в счастливой улыбке. «О, генацвале, — сказал он Вартану влюбленно, — ты, видимо, замечательный человек, если тебя любит такая женщина!» — и поцеловал Сильвию в щечку. «По-братски, по-братски...» — сказал он.

Наконец он поднялся с утренней легкостью и пошел к выходу, помахав всем ручкой. Сильвия и Вартан отправились в прихожую проводить его.

«Зачем он приходил?» — спросила Оля, пожимая плечами. «На новоселье», — усмехнулась Ашхен. «А черт его знает», — растерянно сказал Шалико. Тогда Галактион судорожно ухватил полный бокал, осушил его и внезапно расплакался. Оле пришлось утешать его, разглаживая его кудри, а он повторял и повторял, плача: «Бедная моя Оля! Бедная, бедная...»

Застолье было недолгим и скоро забылось, хотя через много лет вспомнилось снова.

Через год непредсказуемая партийная судьба вернула Ашхен в Москву, и Ванванч снова утвердился в арбатской квартире на радость Жоржетте и Насте. А Сильвия металась с Лермонтовской на Грибоедовскую, чтобы подкормить Шалико или посплетничать с ним уединенно о том о сем и попытаться понять, наконец, суть этой чужой ей ситуации, от которой она все больше и больше зависела. «Вот ты сидишь там на своем партийном холме, а я тут

верчусь, — говорила она ему, — ты знаешь, что люди говорят? Они говорят, что так жить невозможно, понимаешь?» — «Откуда люди могут знать, как нужно жить? — спрашивал он устало. — Они не могут знать...» — «Ну, конечно, это вы все знаете», — смеялась Сильвия. «Мы не знаем, но Маркс все знал», — парировал Шалико. «А голод на Украине? — спрашивала она зловещим шепотом. — Это ваш Маркс так хотел?» — «Понимаешь, — говорил он, — когда дитя растет, у него — то ангина, то скарлатина, то коклюш, понимаешь? Это неизбежно. Потом все устроится. Мы не можем быть тряпками, понимаешь?»

Вот так и докатились до тридцать второго года, и, вдыхая сладострастными ноздрями неустойчивый запах мнимого благополучия и морщась от еще более дурных предчувствий, Сильвия не переставала дрожать за судьбу своей безумной партийной сестры и ее не менее безумного мужа, и за судьбу своей семьи, и за свою собственную. Вартан трудился продавцом в магазине; он, поверженный, был все так же добр и весел, и слегка выцветшая синяя шелковая косоворотка по-прежнему была ему к лицу. Сильвия умела падать, но при этом на заранее расстеленную соломку, и отчаяние не сгибало ее. Она, расточая свои чары, устроила Вартана старшим экономистом в торговое управление. «Пока они кормят голодранцев своими дурацкими лозунгами, — думала она, имея в виду большевиков, — надо жить и жить...»

...Вот она и живет, и диктует учтивому Вартану, куда пойти, кому что сказать, что достать и куда отнести, и как распорядиться своим умением, обаянием, ловкостью. И пытается вот уже почти восемь лет вытянуть, освободить свою дочь из корсета — из этих скорбных рыцарских доспехов. И трепещет над внезапно постаревшим отцом.

А тут еще голубоглазый рыжеволосый Рафик, так и не совладавший со школой, пристрастившийся к шоферскому ремеслу, и в свои двадцать четыре года кто он теперь? Обыкновенный шоферюга тифлисского разлива, обожающий долгие тифлиссские застоля, добрый, легко воспламеняющийся и чудовищно дремучий. Мало ли что большого начальника возит! Подумаешь... «Он, например, думает, — говорит удрученная Сильвия Вартану, — что Африка — это деревня где-то в России! Представляешь?» — «Пусть, — смеется Вартан, — пусть он *так* думает... Ему *так* хочется... Он добрый парень...» Рафик любит грудастых девиц и обязательно попроще — иначе ему трудно с ними объясняться. Вартан и Сильвия взяли его в оперу. После этого он долго смеялся и спрашивал изумленно: «Ваа, ты куда меня повела? Я что, фраер? Вааа, ну что ты будешь делать! Я спал там, ты понимаешь?» Вартан смеялся, а Сильвия сказала жестко: «С тобой все ясно, Рафик». «Что ясно? Что ясно?» — не понял он. «Ну ладно, ладно, — сказала она, презирая, — иди к своим девкам...» Он хотел сказать ей, что сам презирает их фигли-мигли... подумаешь, аристократы паршивые... да лучше бы я выпил саперави с друзьями... Но он не знал, как сказать все это, да с Сильвией и не поспоришь: она как мильтон в юбке.

А Ванванч любил дядю Рафика. Рафик катает Ванванча в машине. Они едут по Тифлису, по булыжнику, по лужам. Останавливаются в каком-нибудь загадочном месте, и из-за угла появляется внезапно пышная краснощекая хохотунья и плюхается на сиденье рядом с Ванванчем. «А это кто?» — «Это мой племянник, — говорит Рафик небрежно, — это сын моей сестры... Она знаешь кто? В Москве живет. Она большой человек там. Ее муж знаешь кто? Ааа, вот то-то... мой зять...» Потом машина ломается, и он залезает под нее и кричит, и все проклинаят, а знакомая упархивает, похохатывая. Потом они едут дальше, и рядом с Ванванчем сидит уже другая знакомая, очень похожая на ту, первую, и ей тоже объясняет Рафик происхождение Ванванча, а она говорит лениво: «Рафик, отвези меня на базар, ну что тебе стоит? Отвези, ну...» — «Не могу, — говорит Рафик, — клянусь мамой, не могу: меня уже начальник ждет, черт бы его побрал совсем! Вечером в Дидубе поедем, хочешь?..» Дома тетя Сильвия ругает Рафика, он пытается что-то объяснить, но она говорит ему: «Иди, иди к своим девкам!..»

Ванванч никак не может понять, откуда тете Сильвии все известно и почему Рафика нужно ругать за этих толстых хохотушек, которым было так весело в автомобиле. «Они что, молодые?» — спрашивает Люлю. «Нет, совсем старые, — говорит Ванванч, — такие же, как Рафик».

Люлю хохочет во весь свой большой рот. «Что такое! — кричит тетя Сильвия. — Что ты орешь?» — «Я не ору, — обрезает ее Люлю, — я смеюсь, понимаешь? Мне смешно...» — и плачет. Тетя Сильвия в смятении, это хорошо видно. «Не напрягайся, — говорит она умоляюще, — я же тебе говорю. Тебе вредно напрягаться... Ну хорошо, прости меня, я погорячилась...» — «Люлюшка, не сердись на маму, — говорит Вартан и гладит Люлю по головке, и целует тетю Сильвию в щеку, и щекочет Ванванча под мышками, — мама нервничает, потому что жизнь нелегкая... вот и все... а теперь уже все хорошо, да, Сильвия?» — «Ладно, Вартан, хватит болтовни, — говорит тетя Сильвия по-командирски. — Отправляйся, куда я тебе сказала...» Вартан подмигивает Люлюшке и отдает тете Сильвии честь.

Чтобы утешить Люлюшку, Ванванч извлекает свою копилочку, сову малинового цвета со щелочкой на самой макушке. В ней уже позвякивает мелочь: дедушкин пятак и копеечка бабуси, это словно капельки червонного золота, расплавленного в их жарких ладонях. Вот они летят, горячие и мягкие, и попадают в узкую щелочку и вливаются в нее, мгновенно принимая ее форму, и успокаиваются с долгим золотым звоном на самом ее дне. Люлюшка слушает с восхищением, тетя Сильвия делает большие глаза. Этот звон затихает не сразу, и он прослушивается едва-едва, словно бабуса и дедушка переговариваются домашним шепотом на непонятном загадочном языке.

И в какую-то из редких минут умиротворения и покоя тетя Сильвия подносит к отверстию копейку, белые холеные ее пальцы разжимаются, и медный кружок проваливается во тьму. И Люлюшка уже изготовила свое золото. Голоса монеток переливаются в совиной утробе, и Ванванч с горечью думает, что не догадался попросить о том же папу и Рафика, и Жоржетту, и маму, чтобы теперь слушать их приглушенные голоса... А сколько же еще тех, кого он знает и любит, чье звонкое участие должно упасть в эту пузатую сову: и бабушка Лиза, и дядя Миша, и Коля, и Вася, и Гоар, и Оля, и Галактион, и Нерсик...

Завтра тетя Сильвия, Люлюшка и Ванванч уезжают в Евпаторию. Вартан будет трудиться в Тифлисе, посылать деньги им к морю, и папа будет трудиться будто бы и здесь, но где-то недосягаемый. Мамочка в далекой теперь уже Москве. Она не очень-то балует оттуда письмами. Ей некогда, как и папе. И потом это такое счастье, что есть Сильвия — надежная, практичная, такая сильная и влюбленная в Ванванча. И Ашхен, время от времени вспоминая о сыне и скучая, а может быть, и тоскуя, спокойна за него, и она может отдаваться своему делу, служить своему долгу полноценно, вдохновенно, страстно. И чувство благодарности к Сильвии и Марии переполняет ее.

— Вот, — говорит тетя Сильвия Ванванчу, — послушай, что тебе пишет мама.

Ванванч тянет руку к письму, но она отстраняет его.

— Нет, нет, — говорит она, — это *мне* письмо, подожди, но тут есть кое-что и для тебя. Вот послушай... мой дорогой Кукушенька, как ты поживаешь? Я по тебе очень соскучилась. Слушайся тетю Сильвию и бабушку. У нас произошло вот что: Каминские уехали в Париж насовсем. Они не захотели жить в нашей счастливой стране. Однако знаешь, *что* самое интересное? Это то, что Жоржетта отказалась ехать с ними! И ты знаешь, что она сказала? Она сказала, что она пионерка и к капиталистам не поедет, представляешь! Ее очень уговаривали, а Юзя Юльевна даже плакала, но Жоржетта была непреклонна и осталась с Настей.

— А дальше? — спрашивает Ванванч, задыхаясь.

— Дальше это уже мне, — говорит тетя Сильвия.

— Ну и дура эта Жоржетта! — смеется Люлю.

— Помолчи, — говорит тетя Сильвия, — много ты понимаешь!..

Внезапно Ванванч подбегает к окну. С ним что-то происходит. Он вцепляется пальцами в кремовую занавеску на окне. Голова его задрана. Он втягивает воздух разинутым ртом, еще, еще, грудь его раздувается, глаза выпучены многозначительно... Куда он смотрит, куда? Куда? Тонкий звук повисает на губах и слетает с них, и усиливается, и улетает прочь... Куда? Куда?.. Напряжение его столь велико, что кажется: еще немного — и рухнет потолок, и закачаются

стены. Однако звук, выплескивающийся из него, слаб, чист и мягок. Он как струйка. Куда он течет? Куда стремится? Куда? Куда?.. Сильвия, вышедшая на кухню, стремительно возвращается... Куда, куда, куда вы удалились, златые дни моей весны?.. Люлюшка хохочет. «Что случилось?!» — спрашивает тетя Сильвия. «Мама, — хохочет Люлю, — он поет арию Ленского...»

В этот момент входит Вартан и застывает в изумлении. «Кукушка», — по-купчески выдергивает из бумажника хрустящую рублевку и пытается протиснуть ее в щелку копилки. «Нет, нет! — кричит Ванванч, отводя сову. — Не надо бумажку! Надо копеечку, копеечку!..» — «Что ты делаешь, Вартан? — сердится тетя Сильвия. — Зачем ему нужна твоя бумажка?» — «Ему золото нужно», — говорит Люлю. Вартан недоуменно вскидывает брови. «Ах, золото?..» — и выгребает из кармана пригоршню монет и тянет руку к сове, но Ванванч отводит сову. «Нет, — говорит он серьезно, — нужна только одна монета, чтобы была твоя монетка, понимаешь?..» — «А знаешь, сколько можно мороженого купить на эти деньги? — спрашивает Вартан. — Бери, бери...» Ванванч выбирает копеечку, и она проскальзывает в отверстие и долго обиженно звенит там, устраиваясь среди прочих...

7

Еще неведома моему герою удручающая истина, что все — однажды: и дождь, и слово, и пейзаж, и за повседневным мельканием не слышна музыка утрат. И когда тетя Сильвия, оторвавшись от книги, спрашивает неведомо кого, не Ванванча, не Люлюшку, а пустое безответное пространство: «Что вы будете делать, когда я умру?», Люлюшка корчит уморительную рожу, а Ванванч говорит, обнадеживая: «Не умрешь».

И вот они едут в поезде по Грузии, читают, смотрят в окно, считают лампочки в туннелях, обглаживают куриные косточки, лакомятся припасенной дыней. Затем ранним утром следующего дня погружаются в белесое облако, пронизанное золотыми стрелами восхода, и чистые домики Батума окружают их.

Дядя Саша, папин брат, встречает их и сопровождает до морского порта. Он похож на папу, но старше и, конечно, не такой главный: он простой бухгалтер, хотя до Ванванча долетают смутные толки о его былом офицерстве. Однако Ванванч пока не улавливает сути. Это года через три он ахнет, узнав, что дядя Саша был белым офицером, года через три, а пока перед ним — доброе, улыбающееся, немного усталое дядино лицо, и дядя поминутно утирает лоб скомканным платком, потому что с утра разливается душный, тягучий, обременительный июньский зной.

Они едут на извозчике, пока не оказываются перед черным бортом громадного парохода с непонятным названием «Франц Меринг». То есть Ванванчу кажется громадной эта отжившая свое, старомодная паровая посуда, курсирующая меж Батумом и Крымом, коптящая тропическое небо и время от времени оглашающая окрестности хриплым старческим ревом. Дядя Саша хватает чемоданы. Руки напрягаются. Лоб в поту. Но на лице улыбка, и он что-то еще выкрикивает на ходу, что-то, видимо, смешное, потому что Сильвия смеется и Люлю тоже. Она в корсете, и потому подбородок ее надменно задран, тонкие стройные ножки аккуратно ступают по деревянному причалу. Почему они смеются, Ванванч не понимает — он вдыхает запахи моря и дегтя и очень волнуется, еще не веря, что взойдет на эту громадину. «Быстрее! Быстрее!» — задыхается дядя Саша, и они начинают взбираться по трапу. «Очень похоже, как карабкались на борт тогда, — кричит он, задыхаясь, — тогда, — говорит он, — вот с этого самого причала, представляешь?» — говорит он. «А почему же ты сам не уехал? — строго спрашивает Сильвия. — Почему?..» — «Ах, Сильвия, — говорит дядя Саша и внезапно останавливается и ставит чемоданы, — ах, Сильвия...» — и вдруг начинает смеяться, задыхается и смеется. «Ах, Сильвия!..» — «Скорей, скорей!» — кричит Ванванч. «Скорей!» — кричит Люлю, и Саша вновь подхватывает чемоданы. Шея его напрягается, ступеньки под ногами раскачиваются и скрипят.

Ночью Ванванч просыпается в тесной полутемной каюте и слышит, как где-то в глубине парохода глухо рокочет машина и доносится плеск волн. Душно. Незнакомые запахи и звуки окружают его.

Утром, позавтракав домашней снедью, они идут за Сильвией на палубу, «на свежий воздух». Дядя Саша уже забыт где-то там, на батумском причале. «Сегодня мы приедем в Ялту», — говорит Сильвия. «А кто же понесет наши чемоданы?» — лениво и без интереса спрашивает Люлюшка, хоть ей все известно наперед. «Придет Баграм Петрович. Он будет нас встречать», — говорит Сильвия, — ты разве не знаешь?» У Люлюшки бледное лицо. «Такой жуткий воздух, что невозможно дышать», — говорит она. «Господи, на кого ты похожа! — огорчается Сильвия. — Не торопись, я кому сказала!» — «Ну что я сделала? Что?!» — сердится Люлю. — Видишь, как я иду осторожно?..» Ванванч привык к этой войне. Он знает, что тетя Сильвия любит Люлюшку. В минуты благорасположения и мира она говорит о своей любви, и при этом ее большие пронзительные глаза переполняются слезами. «Почему ты все время на меня орешь?» — спрашивает Люлю в минуты любви. «Это от отчаяния, — объясняет мать, — сердце болит, понимаешь?» — говорит она и гладит, гладит дочь по головке. И нужно, наверное, прожить целую жизнь, чтобы осмыслить по-настоящему цену этого прикосновения.

И вот они, наконец, выбираются на палубу, и Ванванч видит всюду — у стен и на деревянном полу — множество людей. Что они делают? Некоторые, прямо на полу расстелив газеты и тряпки, завтракают. Ванванч видит нарезанный хлеб, и это его восхищает. И ломтики сыра, и зелень, и колечки огурцов. Они едят, но их сосредоточенность и помятость никак не вяжутся с синим бескрайним морем и синим счастливым небом, и веселым праздничным солнцем. И он думает, как это замечательно — есть прямо тут, сидя на полу, под ногами шагающих пассажиров! Какие-то дети бегают, перепрыгивают через лежащих. Кто-то спит прямо на голом полу, подложив под голову мешок. И тетя Сильвия с досадой смотрит в море, и Люлюшка замерла, надменно голову задрала, и Ванванч в своей соломенной шляпке млеет, восхищенный представшей картиной.

«А почему они все на палубе?» — спрашивает он. «Они любят завтракать на свежем воздухе», — объясняет тетя Сильвия и кусает губы. «Они просто бедные, — говорит Люлю, — видишь, какие они помятые и грустные?» — «Не говори ерунду!» — сердится тетя Сильвия, и Ванванч понимает, что начинается привычная война, а кроме того, он знает, что бедные жили раньше, при царе. «Я тоже люблю кушать на свежем воздухе», — говорит он, и ему хочется воон тот ломтик свежего огурчика, с хрустом исчезающий во рту бородатого старика. «Конечно, — говорит тетя Сильвия, — вот в Евпатории мы будем есть на свежем воздухе». Ванванч видит, как у Люлюшки при этом насмешливо складываются губы, но убежденные интонации тети Сильвии ему приятны: в них есть надежность и покой.

Людей на полу так много, что невозможно передвигаться. Сильвия говорит нервно: «Ну ладно, хватит, идемте...»

В каюте каждый предоставлен самому себе. Тетя Сильвия читает «Манон Леско», Люлюшка вышивает на платке синюю розу, Ванванч смотрит в иллюминатор. «А разве у нас есть бедные?» — спрашивает он у Люлюшки. «А ты что, с луны свалился?» — говорит она и посматривает на мать. Ванванч садится рисовать.

«А знаешь, — говорит тетя Сильвия Ванванчу, — ты ведь уже плыл на этом пароходе. Плыл, представляешь? Ты-то помнишь? Люлюшка, ты помнишь?» Что-то смутное шевелится в сознании Ванванча, как будто бы он даже вспоминает что-то. «Правда?» — спрашивает он, тараща глаза. «Я помню!» — говорит Люлюшка. «Тебе было четыре годика», — говорит тетя Сильвия. Ванванч радостно хохочет: «Совсем маленький!» Ему приятно, что говорят о нем. Он еще не умеет притворяться равнодушным к вниманию, слабой ручкой умерить пыл рассказчика. «И ты называл меня тетя Слива, и от качки тебя тошнило, и ты хныкал и говорил: «Тетя Слива, рот болит!..» Ванванч хохочет. «Я что, был такой глупый? — спрашивает он, наслаждаясь. — А теперь меня и не тошнит вовсе...»

От грохота паровой машины некуда укрыться. Вдруг тетя Сильвия быстро поднимается, торопливо засовывает по чемоданам извлеченные вещи, защелкивает замки и говорит: «Вставайте, дети. Скоро Ялта». «Как же мы понесем чемоданы?» — спрашивает Люлюшка с ужасом. «Придет Ваграм», — говорит Сильвия. И когда пароход, глухо и утомительно урча, пришвартовывается к ялтинской пристани (а это уже ранний полдень), в каюту вбегает Ваграм Петрович.

«Ваграм! — недовольно и сердито восклицает тетя Сильвия. — Зачем ты прибежал в каюту? Мог бы и на пристани подождать!..» Ваграм Петрович встряхивает черными цыганскими кудрями и чмокает тетю Сильвию в щеку и Ванванча в щечку, а Люлюшку тискает в объятиях. «Ээээ, — говорит тетя Сильвия, — ну хватит, хватит!» Ваграм Петрович подхватывает чемоданы, и все двигаются к выходу. Тетя Сильвия продолжает капризничать. Она совсем на себя не похожа. Она не командует, не велит, а капризничает, как маленькая избалованная девочка. Но Ваграм Петрович не сердится на нее за это, не обижается — посмеивается, поддакивает и подмигивает то Ванванчу, то Люлюшке, а то бросает чемоданы и вдруг ловит белую руку тети Сильвии и начинает ее целовать. «Перестань, Ваграм, прекрати!» — негодует тетя Сильвия и сама начинает смеяться. А как он движется при этом, как пританцовывает, как отставляет локти!..

Ваграм Петрович — главный Люлюшкин доктор, и он главный специалист по спондилезу, и он главный врач санатория, в котором им предстоит жить. «Он мамин друг, — говорит Люлюшка Ванванчу, — он не просто доктор, а друг, понимаешь?»

Ванванч не думает сейчас ни о папе, ни о маме. Он видит Ваграма Петровича и радостно представляет себе, как они будут жить у моря — весело и раскованно. Он бежит за цыганским Ваграмом Петровичем со своим маленьким чемоданчиком, переполненный восторгом и приязнью... Где-то там далеко Арбат и Жоржетта, отвергнувшая своих буржуазных родителей, которые где-то там, в Париже, где-то там... Арбат... Париж... Евпатория...

Вот они усаживаются в старенький пропыленный тарантас с дырявым тентом над головой, и старый улыбающийся татарин дергает вожжи, и две коричневые лошадки цокают по ялтинским улочкам. Потом — знойная дорога. Остановки у каких-то придорожных домиков. Татарки в шальварах и косыночках выносят горячие лепешки, виноградный сок. Ленивые собаки едва вертят хвостами. Горная дорога змеится сквозь зной. Люлюшка кричит: «Вай!», едва море открывается за очередным поворотом где-то глубоко внизу и скрывается, и возникает вновь. «Вай!» — «Не ори!» — негодует тетя Сильвия.

Они ночуют в очередном татарском доме при дороге, на чистых простынях, на твердых топчанах, покрытых коврами. Перед сном детей кормят кислым молоком, и снова — золотистые лепешки, и татарская будничная скороговорка, и скуластые бронзовые лица хозяев. Не терпится увидеть Евпаторию. «Скоро, скоро», — загадочно шурит Ваграм Петрович.

Поворот за поворотом. Старый татарин выпевает что-то тягучее. Море меркнет. Голова гудит. Сквозь скрип колес слышится сочный басок Ваграма Петровича. Какие-то там их взрослые дела, какой-то пустопорожний вздор сквозь подступающую дрему... «Ты заказал?» «Заказал...» «Нашлась?» «Ну, естественно...» «Ваграм, это не твое дело...» «Голод на Украине...» «Ты с ума сошел! Что ты несешь при детях?..» «Ну Сильва... Ну, конечно, не голод... гипотетически...»

Ванванчу видится в море скала. Здесь жил Робинзон. Вполне вероятно... «Люлюшка, вот остров Робинзона!» — «Робинзончик... — говорит Люлю, — мой миленький дружок». И вдруг поет, шлепая губами: «Мой миленький дружоооок, любезный пастушоооок...» — «В чем дело?!» — сердится тетя Сильвия. «В чем, в чем, — бормочет Люлюшка, — ни в чем...»

«Пой, Люлю, пой!» — кричит Ваграм Петрович. «Ваграм, — кричит тетя Сильвия, — прекрати!» «Я доктор, — говорит он, — не вмешивайся», — подмигивает Ванванчу. Тетя Сильвия ожесточенно покусывает полные губы.

«Что это значит — голод на Украине?» — думает Ванванч. Он наклоняется к Люлю. «Голод — это когда все голодные?» — шепчет он. «Не все, не все... — шепчет она, — ты же не голодный?» — «Евпатория», — говорит татарин. Из-за поворота возникает Евпатория. «Евпаторийцы и евпаторийки! Евпаторяне и особенно евпаторянки! — торжественно провозглашает Ваграм. — К вам приехала Луиза Леоновна и Куку, ура! Люлюшка и Кукушка!.. Мистический конгломерат... пронизательные пролетарии променада!..» Тетя Сильвия смеется, вглядываясь в подступивший город.

Из окна белого санаторного домика можно выпрыгнуть на золотой сухой, рассыпчатый песочек евпаторийского пляжа и втянуть всей грудью морской солоноватый дух — аромат голубой волны и выкинутых на берег, прожаренных под солнцем водорослей, и едва уловимое вкрадчивое благоухание серебряной, затаившейся в воде камбалы.

На Ванванче белая маечка и красные трусы, и соломенная шляпка такая же, как на Люлюшке, и почти полная воля, и почти полная безнаказанность. «Полная свобода! — провозгласил Ваграм Петрович, едва они вошли в новое жилище. — Полная свобода и сумасбродство!.. Но спать ложиться вовремя, кушать жадно и усердно, тетю Сильвию слушаться беспрекословно, а в остальном — полная свобода и разгильдяйство!..»

Ванванч подпрыгнул высоко, по-индейски. Люлюшка усмехнулась. Тетя Сильвия, покусывая губы и презирая пустопорожние восклицания, вынимала из чемоданов вещи и раскладывала их в белом шкафу.

Дети бегали по пляжу, взметая золотые брызги, кричали и хохотали, придумывали игры. Впрочем, каждой придумки хватало на три минуты. И тетя Сильвия крикнула им из окна раздраженно, как она умела: «Люлю, хватит! Успокойся!..» — «А свобода?» — спросила Люлюшка. Но в окне, словно в раме, застыло лицо матери, и Ванванч тут же различил на сестре корсет, разбухающий под платьем... Потом они сидели у самой кромки воды, подставив бледные городские ступни ленивой полдневной волне, не шевелясь, приходя в себя и припоминая. Люлюшка — свое, печальное и безобразное, приправленное истощенными материнскими криками, что-то запретное и унижительное; Ванванч — Жоржетту, Жоржетту, Жоржетту, не мамочку, не бабуся, не мацони с белым лавашом... а Жоржетту, отказавшуюся ехать к буржуйам.

На следующий день они наслаждались безмятежными прогулками в дальний конец пляжа, где тетя Сильвия купила им малиновое мороженое, выскочившее из желтых прокуренных пальцев продавца. Сначала оно плюхнулось розоватым комком в алюминиевую формочку на заботливо подставленную круглую вафлю, затем ее прикрыла другая вафля; нажатие большого пальца — и сладкое колесико у тебя в руке, на кончике языка, холодное, ароматное, затем — в горле, не успев еще растаять, но успев охладить и пронизать все малиновым благоуханием и кольнуть зубы... или вишневое... или сливочное...

При этом на тебя смотрит, почти заглядывая в рот, смешное существо на тонких ножках в заношенной не летней юбочке и в дырявой шерстяной кофточке с чужого плеча, несмотря на полдневный зной. Оно впивается острыми глазами в твое мороженое, на острой шейке шевелится комочек, и кончик языка время от времени поглаживает сухие губы.

За ее спиной — странная женщина почему-то в пальто и в косынке, укрывшей всю голову. Дряблые щеки несвежего цвета видны из-под косынки. Она босая. В пальто и босая... И тоже смотрит с удивлением и даже с неприязнью. И не на мороженое, как девочка, а прямо на Ванванча, на его соломенную шляпку, из-под которой высыпаются каштановые колечки; затем она переводит взгляд на тетю Сильвию: какая она стройная в облегавшем белом платье, а под ним — тоненькие ножки, еще бледноватые, городские, а прическа короткая по самой последней моде, и в белой сильной руке — расшитый кошелек...

Тетя Сильвия отворачивается и тянет Ванванча за руку, властно и резко. «Ну хватит, хватит, идемте, дети!.. Слышите?» Девочка делает шаг в его сторону, и Ванванч понимает, что сейчас она подскочит и вонзит длинный жадный нос в вишневое месиво. «Мама, купи ей мороженое», — безнадежно шепчет Люлю. Тетя Сильвия уводит их. «Почему ей не купили

мороженое?» — спрашивает Ванванч. «У нее ангина», — презрительно кривится Люлюшка. «Не глотай! — кричит тетя Сильвия дочери. — Не глотай с такой жадностью!.. Погибнешь, дура!..» «Не ори на меня», — шипит Люлю.

Но страсти утихают быстро. И вот они на маленьком базарчике, где торгуют фруктами и овощами. И тетя Сильвия выбирает маленькие звонкие арбузики величиной с большую антоновку. Дома они сядут за деревянный стол, срежут с арбузика верхний кружок и начнут выскабливать мякоть чайными ложками. Потом игры в пляжном песке. Потом санаторская нянечка в белом халате принесет им обед и, оставив судки, удалится... Потом, пообедав, они улягутся в постели и наступит мертвый час, и тетя Сильвия усядется с книгой в плетеное кресло, выставленное на пляж под самое распахнутое окно, так что будет слышно, как журчит слабая волна и как шуршат страницы книги, и как, похрустывая по песочку, возникнет на минуточку Ваграм Петрович и скажет шепотом: «А надо было бы купить ей мороженое...», а тетя Сильвия скажет: «Я растерялась...», и дальше — уже затухающие, вялые слова, что-то о голоде на Украине...

Он спал, просыпался. Солнце скатывалось в море. На прощание оно щекотало лицо. Люлюшка уже тоже сидела под окном в плетеном кресле с вышиванием. Ножки кресла утопали в песке. Он было предложил ей поиграть в красных и белых, но она поморщилась. Он раскрыл своего читаного Сетона-Томпсона и уткнулся в изображение Виннипегского Волка. Волк смотрел на него, не отворачиваясь. Его бурая с подпалинами морда тянулась с листа и касалась плеча Ванванча. Два желто-зеленых громадных глаза следили за каждым его движением. Что-то было в них знакомое: настороженность и тоска, недоумение и одиночество, и давняя затаенная обида... Вдруг вспомнилась нынешняя утренняя девочка и ее два остановившихся зрачка, и то, как она шевелила кончиком языка, будто уже дотянулась до ледяного вишневого чужого лакомства.

В восемь лет не осознают перемен в собственной душе. Лишь становятся прозрачнее силуэты еще совсем недавно любимого, привычного... Хотя небо все то же, и зелень, и лица близких... И Ванванч пока не задумывается, не пытается понять, что же это такое прицепилось к нему? Он все тот же, не правда ли? А это худенькое существо с плохо вымытыми впалыми щеками и с глазами голодной собаки — это существо как бы случайное, как бы временное... но оно и вчера, и сегодня, и даже сейчас, и теперь уже всегда, и Ванванч не мог, думая о нем, предаваться беззаботному смеху.

...Так тянутся эти счастливые благословенные дни у моря, и приходят к тете Сильвии и Ваграму Петровичу красивые благополучные гости, и среди них даже Любовь Орлова, еще не знаменитая, но красивая, декламирующая, поющая, глядящая Ванванча по головке, когда он, распоясавшись от внимания к нему, позволяет себе корчить уморительные рожи на радость гостям, или вдвоем с Люлюшкой поет дурным голосом дуэт Татьяны и Онегина... «Ах, ах!» — восклицают гости. «Его папа большой коммунист, — говорит Ваграм Петрович, — и мама тоже». Но хоть Ванванч и слышит это с гордостью и веселится в своей полосатой маечке и соломенной шляпке, силуэт маленького голодного существа — уже маячит в сознании, вызывая еще неведомые печали.

Тетя Сильвия при гостях не смеет кричать на Люлюшку. Ваграм Петрович посмеивается и пританцовывает, не снимая белоснежного докторского халата. В большой мороженице крутят по очереди домашнее мороженое, и все едят, причмокивая.

Любовь Орлова поет: «Я встретил вас...» «Я встретил вас, и все такое...» — подхватывает Ваграм Петрович. «Пусть Кукушка прочитает свое стихотворение, — говорит тетя Сильвия, — вы знаете, он придумал стихотворение!..» Ванванч стесняется, но ему очень хочется. «Читай, Кукушка», — требует Люлю. Он вдохновенно читает случайно родившиеся строчки: «Пушки стреляли, бомбы взрывались...» — «Ну-ну», — требуют гости. «Красные смело на белых бросались...» — «Ну?» — «И все», — говорит Ванванч. «Гениально!» — провозглашает Ваграм Петрович. Все хлопают.

Под утро ему снится сон, будто он сидит на краю пляжа, погрузив ножки в морскую пену, и в руке его — большое яблоко. Он собирается откусить от него, но чумазая девочка выхватывает яблоко и вонзает в него острые зубки. Ванванч садится в постели и плачет. «Вай, коранам ес!..» — приговаривает тетя Сильвия. Люлюшка хмыкает. «Почему же ты плакал? — удивляется утром Ваграм Петрович. — Ты же октябренок!»

Утро развеивает печали, и каждый новый день укрепляет дух, и белая кожа Ванванча бронзовеет, и дни идут один за другим. Но теперь уже почти ежедневно вспоминается эта странная пара, эта сопливая девочка и ее мать почему-то в грязном пальто с одутловатым лицом и пустыми глазами. «Дура, дура! — говорит Ванванч. — Жадная дура!..» — «Почему?» — удивляется Люлю. «Потому что не купила своей дочке мороженого». — «Кукушка, она бедная, — говорит Люлю, — у нее нет денег». Он уже догадывается, догадывается, но это еще какой-то неведомый мотив среди других привычных бесхитростных звуков, окружающих его. И нет утешения. И даже такое могучее, как недавнее «кулак», «грабитель», «враг», «квросос», — все это уныло меркнет и перестает утешать, и не вяжется с голодными глазами и причмокивающим ртом. И даже вчерашний Мартьян с его рыжей бородкой не вызывает бывшего протеста.

...Покуда блистали евпаторийские праздники, в окружающем мире совершались перемены — резкие, а иногда и болезненные, за которыми евпаторийцам было не уследить. Тут я имею в виду даже не Ванванча или Люлюшку, но взрослых, которые развлекались, зажмурившись и отмахиваясь от всех печальных и горьких перемен, слухи о которых к ним все-таки прорывались.

Покусывая пухлые сочные губы и обольстительно улыбаясь нужным людям, Сильвия не верила никому, кроме, пожалуй, беспомощных в этом мире Степана и Марии. И уж, конечно, не верила столь любимой, обезумевшей Ашхен, лихорадочно сооружающей со всеми вместе подозрительное всеобщее благополучие, от которого веяло холодом, не верила и благородному улыбочивому Шалико, в глазах которого она замечала время от времени опасное посверкивание.

Мнимое благополучие двадцатых годов, давно растаявшее, омрачилось к тому же ссылкой Миши и Коли как троцкистов и буржуазных уклонистов. Сильвия знала, что это благополучие ненадежно и временно, потому и приобретала, как могла, всякие антикварные штучки. О, ее интуиция была на высоте все эти годы, и это было такое богатство рядом с пустыми обольщениями окружающих. Правда, и Вартан, и Ваграм Петрович, и пианистка Люся понимали ее с полуслова и разделяли ее скепсис. Постоянное единоборство между «быть» и «слыть» не исказило ее прекрасных черт. Она твердо знала, кем ей следует быть в мире, построенном суетливыми большевистскими усилиями ее любимых дурачков, Ашхен и Шалико, и кем ей надлежит слыть, чтобы, чего доброго, не треснуло и не разрушилось ее призрачное благополучие. И Ваграм Петрович, с восхищением взирающий на Сильвию, пригласив как-то директора санатория, представил ему ее как близкую родственницу видного грузинского коммуниста, секретаря тбилисского горкома партии! «А это его сын», — сказал Ваграм Петрович и погладил Ванванча по головке. И директор погладил Ванванча по головке. Взрослые пили сухое вино, ели охлажденную дыню. «А его мама работает в московском горкоме партии, — сказала Сильвия как бы между прочим, — это моя родная сестра...» — «О! — сказал директор. — Замечательно!..»

«Почему, — кипело в Сильвии, — почему вы с таким энтузиазмом делаете мою жизнь невыносимой?!. Кто вам позволил?.. Где магазин мадам Геворкян, в котором я покупала кузнецовский фарфор?.. Где?.. Теперь мадам Геворкян существует почти на подаяние, а в ее магазине — комсомольский клуб!.. Почему?.. Кто?..» Это все кипело в Сильвии, когда она встречалась с Ашхен и Шалико и его братьями, но она благоразумно молчала, а пространство озаряла ее обаятельная улыбка, вызывая восхищение и бывших и нынешних большевиков.

Ванванча, естественно, все эти проблемы не волновали, хотя нечто туманное и грустное оведало и его, и в его глазках нет-нет да и вспыхивало недоумение. Нет, не только голодная девочка с грязными щечками прочно заняла место в его сознании, но уже и раньше, когда ему, первокласснику, добрая учительница заявила непререкаемо, что Пушкин был плохой, потому

что имел крепостных крестьян и издевался над ними, а Демьян Бедный — хороший, потому что он высмеивает капиталистов... И он кинулся к мамочке. «Мамочка, кто главнее, Пушкин или Демьян Бедный?!» — «Ну конечно, Пушкин», — сказала мамочка, думая о чем-то своем. «Пушкин?! — воскликнул Ванванч, торжествуя. — Так ведь он был помещиком!..» — «Ну... не совсем так», — сказала оторопевшая мамочка. И он хорошо запомнил растерянное выражение ее любимого лица.

Затем он сдавал экзамены по окончании первого класса. Все сидели за партами, и каждому раздали по листочку. На листочке был нарисован лабиринт. Множество пересекающихся коридоров с тупиками и обманными поворотами. В центре был изображен бородатый тип, сидящий на мешках. Лицо его было искажено злобой и страхом. Это был кулак, и он прятал зерно от трудящихся. Нужно было добраться до его богатств самым коротким путем. «Нужно найти это зерно, — сказала учительница, — нужно найти самый короткий путь к этому врагу... Видите, как он сидит, словно паук, на своем зерне, видите?.. Не ошибитесь, не попадите в тупик... Отберите у него зерно...» — «А если он вдруг заплачет?» — с волнением спросила какая-то девочка. «Не верьте его слезам», — сказала учительница, и ее решительное лицо стало еще решительнее. И она дала каждому по синему карандашу. И они запыхтели вдохновенно и страстно и повели синие линии, спотыкаясь о ловушки. Ванванч сумел добраться до своего кулака под самый звонок. Он очень нервничал и был напряжен. Кулак злобно улыбался. В классе стояла тишина. Ванванч получил красное «удовлетворительно». Это была победа. Со своим победным лабиринтом он и ввалился в дом. «О, — сказала мамочка, — как интересно!..» И показывала, смеясь, знакомым и родственникам. «Какая бездарная глупость!» — сказал зашедший повидаться дядя Миша, но мамочка с ним не согласилась. «Ашхен, дорогая, — сказал он, — это изобретение злобного идиота. В каждом бородатом крестьянине дети будут видеть врагов...» — «Дети узнают, что такое враги, — непререкаемо сказала Ашхен, — а когда вырастут, все поймут... Пусть думают об этом...»

Он не стал спорить с непреклонной свояченицей. Он и сам бывал непреклонен. Видимо, груз алма-атинской ссылки был слишком тяжел, и, чувствуя себя поверженным, он уже не мог единоборствовать. А может быть, он просто был излишне мягкотел и деликатен, и вот его смели? Нет, он понимал, что симпатии Ашхен на его стороне. Она симпатизировала ему, но тайно. Она любила его по-прежнему и восхищалась его благородством, умом, его выдержкой и тактом. Она понимала, что в поднебесной политической игре, где-то там, на каком-то недостижимом облаке бедному Мише сломали крылья и, может быть, несправедливо. Она не задавала вопросов своему Шалико о судьбе его старшего брата: недоумение его перегорело, ответов не было, то есть были, но они таились на такой глубине, что ворошить их там означало бы несогласие, а она была согласна, согласна! Тем более что революционная теория была проста, доступна и почти уже растворилась в крови.

«Или ты служишь великому делу, отменяя сомнения и презирая собственные неуклюжие представления о несправедливости, либо тебя отбрасывает на обочину истории мозолистая рука пролетариата».

Да, и ты подавляешь в себе ничтожный протест против якобы примитивного этого положения. Да, и ты не позволяешь никому судить иначе, и всякого, кто решается на это, ты лишаешь своего вчерашнего обожания, резко и неотвратимо, и жестко. Это было как теорема, и опровергать ее казалось безумием. «Или — или».

Пока мучительно решаются эти проблемы, отчего (я тому свидетель) тускнеют лица, сужаются глаза как бы в предчувствии скорого грома, исчезает житейская вальяжность и горькая речь становится жестче. Так вот, пока это происходит, Ванванч доживает последние евпаторийские дни. Он загорел и окреп. Он даже вмешался однажды в очередную схватку меж тетей Сильвией и Люлюшкой. Так, опять из-за какого-то пустяка. Кажется, Люлюшка, задумавшись, сложила губы неподобающим образом и выглядела на взгляд матери как-то там не очень благообразно, и Сильвия крикнула дочери: «Подбери губы!» — «Ну что я такого сделала?!» — заплакала Люлюшка. «А ты не делай так! — снова крикнула мать, но уже



Тётя Сильвия и Ванванч, 1929

сдержаннее. — Не делай!.. Сколько я тебе говорю!.. Похожа на идиотку!..» — «Не надо!.. — визгливо вмешался Ванванч. — Что ты ее мучаешь?!» И тут тетя Сильвия внезапно рассмеялась и принялась целовать уклоняющегося от ее губ мальчика, и Люлюшка рассмеялась, разинув свой большой рот и утирая слезы. «Конечно, я поступила нехорошо, — сказала тетя Сильвия, — но знаешь, балик-джан, Люлюшка так отвратительно выглядит при этом, что я страдаю... Представляешь, что подумают люди, когда это увидят?..» И она поцеловала Люлю. Уже задолго до отъезда Ванванч начал настраиваться на московское житье, и угасшие было образы далекого города засверкали вновь, а евпаторийские просторы стали казаться нарисованными. Он увидит маму и Жоржетту. Ту самую счастливую Жоржетту, которая стала пионеркой и с пионерской гордостью отказалась ехать к капиталистам! Он завидовал ей и любил ее еще сильнее. И тут как-то внезапно, необъяснимо, почему-то, он представил себе

Жоржетту, эту гордую коммунальную нимфу, почти сестричку, босой, с грязными коленками и измазанными, давно не мытыми щеками, в рваном платье... Она протягивала к нему худую ручку и так шевелила высунутым кончиком языка, словно требовала, чтобы он отдал ей свои ванильные кружочки с вишневым мороженым! И это, видимо, передалось окружающим, потому что тетя Сильвия, тоже непонятно почему, шепнула Люлюшке: «Я не могу забыть эту голодную девочку, помнишь?.. Мне так стыдно, что я не купила ей это проклятое мороженое...» — «Ага! — сказала Люлюшка, шлепая губами. — Ага, я же тебе говорила! Я же тебя упрашивала...»

Наконец, Ваграм Петрович усадил их в татарскую пролетку. Они долго целовались...

И вот они добрались до Тифлиса. Я уже плохо помню дорогу из Тифлиса в Москву. Помню, что Ванванча сопровождала младшая мамина сестра, Сиро. Ей был двадцать один год. Она ехала в Москву поступать в техникум и учиться на чертежницу. В поезде вокруг нее непрерывно крутились возбужденные мужчины. В Тифлисе оставили тяжелобольного дедушку Степана. Тогда он был почти уже при смерти, но Ванванча не посвящали в горькие семейные тайны. Впереди была Москва, и Арбат, и Жоржетта... Он представлял, как, наконец, встретится с ними. Под стук колес, под мягкий загадочный смех Сиро он представлял все это. Думал и о маме, но как-то так, неопределенно. Жоржетту видел в красном галстуке. Она всплеснет ручками и поразится его загару и засушенному морскому коньку, которого он преподнесет ей. Он рассказал Сиро, как Жоржетта пренебрегла призывами родителей и осталась в СССР, с Настей и в красном галстуке... «Здорово! Да?..» — «Все равно уедет, — сказала Сиро, — папа и мама уехали, а она что?..» — «Так ведь она пионерка!» — крикнул Ванванч. «Уедет», — сказала Сиро.

Он был очень напряжен и, подъехав к дому, вывалился из пролетки и побежал в подъезд. Сиро осталась рассчитывать с извозчиком. Он взлетел на четвертый этаж и стал звонить в двенадцатую квартиру. Ирина Семеновна открыла ему. «Ух, ты! Ух, ты! — сказала она. — Напужал меня!..»

Вышла, прихрамывая, Настя и молча заплакала, и обняла его. «А где Жоржетта?! Настя, где Жоржетта?..» — спросил он обреченно. «А Жоржеточка в Париж уехала... — сказала Настя с трудом, — вот видишь как.. Папа и мама ее уговорили, написали ей, что, мол, как же

мы без тебя-то? Мы ведь уже старенькие... как же мы теперь?.. Вот и поехала...» — «Так ведь она пионерка! — крикнул Ванванч. — Как же это она?!.»

Настя гладила его по головке, безуспешно пытаясь утишить лаской предательство Жоржетты.

8

«Никогда никому не говори, что твой папа — крупный партийный работник, — говорит Ванванчу мама, делая большие глаза. — Что это значит — «крупный партийный работник»? Он — твой папа, и все... Это ужасно, то, что я услышала... Ты что, хвастаешься? Ты хвастун?»

Ванванчу стыдно. Он брякнул это, опаленный евпаторийским солнцем и жаркими, с придыханием восклицаниями санаторских гостей. Теперь Москва ставила его на место, и в кровь вливался серый, будничный, размеренный, аскетический арбатский дух. Нужно было переучиваться.

И он вспомнил папу, как они ехали на летнем тифлисском трамвае, как папа висел на подножке, легко держась тонкой рукой за поручень. Он был в белой косоворотке и подмигивал Ванванчу... Все в прошлом. Оказывается, он был такой, как все. Никто не знал, кто его папа. Приятно было обладать тайной. «А что я должен сказать, когда меня спросят?» — поинтересовался он. «Скажи, что твой папа — служащий, что он работает в Тифлисе», — сказала мама. «И ты служащая?» — спросил он. «И я». Что-то такое померкло. «А Зяма?» «И он тоже...» Ашхен внимательно вглядывалась в сына.

Зяма Рабинович — папин и мамин друг. Друг по партии. Высокий, рыхловатый, с наголо обритой головой. У него большой нос, голубые искрящиеся глаза. У Ванванча захватывает дух, когда Зяма на него смотрит. Зяма говорит на всех языках... Время от времени он исчезает на долгие сроки. Смутные сведения стекаются в растопыренные уши Ванванча. Это в основном осторожный шепот мамы в ответ на требования Ванванча рассказать о Зяме. Он в Германии, в Бельгии, в Аргентине, еще где-то. Он отправляется туда тайно и учит тамошних рабочих революционной борьбе. За ним охотится полиция, сажает его в тюрьму, но ему удается бежать с помощью своих друзей. Ванванч переполняется счастьем, видя перед собой этого человека. Он хочет услышать от него самого все эти фантастические истории с арестами и побегами. Но Зяма не охотник рассказывать о себе. Он только посмеивается и норовит показать Ванванчу какой-нибудь фокус, например с картами. «Что у меня в руке?..» — спрашивает он, делая большие глаза, и подставляет Ванванчу карту. Ванванч видит короля с белой шелковой бородой и в седых кудрях. «Это король», — говорит Ванванч тоненьким срывающимся восхищенным голоском. «Король?!.» — удивляется Зяма. Ванванч всматривается: это не король, а молодой черноволосый валет. «Кто? Не слышу?..» — смеется Зяма, напевая что-то такое знакомое и боевое. Ванванч старается не пропустить ни одного Зямино движения, но перед ним уже дама. Она загадочно улыбается. Мама очень презирает карты: это мещанство, это тяжкое наследие прошлого, это стыдное занятие... «Разве? — хитро прищуривается Зяма. — Не знаю, но карты мне здорово помогали обдуривать жандармов...» — «Перестань...» — твердит мама и морщится. «Послушай, Ашхеночка, это и вправду не так дурно». — «Все равно», — говорит мама жестко. «Но ведь Ильич говорил, что все средства хороши для высшей цели, а?» — «Не знаю, — говорит мама удрученно, — по-моему, ты не прав...» — «А он?» — посмеивается Зяма, имея в виду Ленина. Мама краснеет и молчит.

Золотая рыбка истории, погрузнев и исказив свой первоначальный лик, уходит во тьму, а я с примитивным фонариком тороплюсь следом и пытаюсь понять — в чем горький смысл преобразования слепого пухлого дитяти с темными колечками волос, пахнувшего чистой природой, в унылую громадину с провалившимися боками, ослабевшую, но умудренную опытом? А все мои дядья и тети, и папа, и мама, и бабушка, и дедушка, и наострив свои чувства, тогда, в те годы, предвидели ли горькую развязку или, пренебрегая последним седьмым чувством, так и оставались в счастливом неведении?

...В Тифлисе начальник отделения милиции на Лермонтовской смотрит на двадцатичетырехлетнего Рафика, словно в большой микроскоп. «Как фамилия твоего отца?» «Налбандян Степан», — говорит Рафик, уставив голубые наглые глаза в начальника. «А мы его задержали, потому что он оскорбил милиционера, — говорит начальник с ленивой улыбкой, — посидит — одумается... Налбандян... Когда говорят, не лезь не в свое дело, — не лезь... Понятно?.. Если всякий Налбандян будет оскорблять милицию — знаешь, что будет?..» — «Зачем всякий? — наглежа, спрашивает Рафик. — Он свекор Окуджава...» — «Это какой еще Окуджава?» — тихо спрашивает начальник. «Ну этот, секретарь горкома партии», — спокойно по слогам сообщает Рафик. Начальник куда-то уходит, потом возвращается и с интересом смотрит на Рафика. Рафик растягивает губы в наглой улыбке. «Вах, — говорит начальник, — то-то, понимаешь, я думаю: кто это такой?..» — «Он старый человек, — говорит Рафик с удовольствием, — иногда нервы не выдерживают». — «Конечно, — говорит начальник, — вы кто?» — «Я его сын», — говорит Рафик. «Слушай, — спрашивает начальник по-дружески, — ты шофер?.. Может, придешь к нам работать? У нас ведь и зарплата высокая, и паек хороший...»

Рафик уводит Степана домой. «Что такое? Что случилось?» — спрашивает у отца. Оказывается, милиционер толкнул какого-то мальчика, а Степан сказал: «Ух ты, сволочь!» У Степана дрожат руки. Мария усаживает мужа на тахту и подкладывает под бока мутаки и стоит над ним, боясь за его сердце, и кажется, что она уже приподняла два крыла, готовая лететь за живой водой.

...Ванванч просыпается на Арбате глубокой ночью. Горит свет. На кровати сидят в обнимку мама и Сиро и плачут. «Почему вы плачете?» — спрашивает Ванванч. «Дедушка умер, Кукушка», — говорит Сиро, и плечи ее трясутся.



Ашхен, 1929

На следующий день Ванванч высыпает из копилки знакомые копеечки, дедушкина — самая заметная, со стершимся гербом, звенит звонче остальных. Но слез нет у Ванванча. Он еще не воспринимает смерть. Печаль — да. Но тут же набегают будни: школа, двор, книжки, воспоминания о дедушке, как о живом. Вот он соорудил маленькому Ванванчу грузовик — кабина, четыре колеса, кузов. В крыше кабины — руль, в кузове — скамейка, и Ванванч садится на нее, а дедушка тянет грузовик за веревочку. Вот в Манглисе, на даче, старшие двоюродные братья, Гиви и Кукуля, собираются на рыбную ловлю, а он, трехлетний, намеревается отправиться с ними. «Да у тебя же нет удочки», — говорит Гиви. «А где моя удочка?» — спрашивает недоумевающий Ванванч. «Маруся, — строго спрашивает дедушка у бабуси, — где же Кукушкина удочка?» — «Вай, коранам ес!» — смеется бабуся и вручает ему маленькую палочку. Он счастлив... «Какой же я был глупый!» — думает Ванванч. И вспоминает дедушкино лицо.

Арбатский двор все тот же. Квадрат из трех двухэтажных флигелей и главного четырехэтажного, в котором проживает Ванванч. Посередине — большой помойный ящик. Асфальт и редкая блеклая травка кое-где. Арбат. Сердце замирает, когда в разлуке вспоминается это пространство. Одно старое дерево неизвестного племени возле помойки, под которым сидят старые няньки. Здесь дети играют в «салочки», в «пряталки», в «классики», познают «нехорошие» слова и, распахнув до предела свои жадные глазки, наблюдают, как в подворотне пьют из горлышка взрослые дяди и тети. Или (о, чудо!), вынырнув из темного подъезда, через двор устремляется высокий худой мужчина, в каком-то странном черном пальто до самых пят, наглухо застегнутом. У него длинные волнистые каштановые волосы, они рассыпаются по узким

покатым плечам. Борода струится с подбородка, и темные усы изгибаются и свисают с верхней губы. На груди его распластался металлический крест. Белое на черном. Он семенит, подпрыгивая, пучит стеклянные глаза, и няньки замирают на лавочке, а Ванванч узнает его и вспоминает, как однажды Акулина Ивановна целовала у этого мужчины руку...

«Ого! — кричит толстогубый Юрка Холмогоров. — Ну и поп — толоконный лоб!..» Нинка Сочилина хлопает Ванванча по плечу: «Чур, горе не мое!..» Все хохочут и хлопают друг друга по спине и плечам, и кричат пронзительно, повизгивая: «Чур, горе не мое!..» А няньки и старушки с лавочки пытаются пресечь это кошунство, вытягивают короткие шеи, грозят пальцами и кулаками: «У, фулюганы!.. У, бессовестные!..» А поп торопится к воротам, он как-то очень смешно перебирает ногами, и белые губы его стиснуты.

Его, его руку целовала Акулина Ивановна, няня, но ореол вчерашнего почтения поколеблен, и истошный голосок Ванванча слышен звонче других. Отныне и он приобщен и счастлив своим умением безумствовать со всеми вместе, назло старухам и нянькам, их угрозам и предостережениям. И когда, возбужденный и раскрасневшийся, он вваливается в квартиру и, уткнувшись лицом в мамочкин теплый живот, рассказывает, задыхаясь, как там все было, мамочка делает большие глаза и говорит: «Фу, откуда взялся этот противный поп?..» Засыпая, он все время думает об этом случае. Распадаются две половины его чувств: худошавая мраморная ладонь таинственного хозяина храма, утопающего в свечах, ладонь, к которой припадает любимая нянька, и испуганная походка дворового чучела, бледного, оскорбленного. О, старый двор, постигающий науку безнаказанности и презрения к дурным предчувствиям! Квадратный ящик с помойкой посередине!..



Ванванч с мамой, 1930

Присматриваясь ко всем этим дворовым делам и задумываясь над ними, Ванванч незаметно для себя начинает вникать и в дела домашние. Он словно поднимается на одну ступеньку выше и вдруг замечает, что мама редко улыбается и какая-то непонятная лихорадочность сопровождает ее жесты и слова. Конечно, это еще внешние ускользающие впечатления, но они уже с ним, и это теперь навсегда.

Однажды Ашхен получила очередное письмо из Тифлиса от Шалико, и оно, как догадался Ванванч, было причиной ее тревоги. «Дорогая Ашхен, —

пишет Шалико, — как вы там с Кукушкой поживаете? Соскучился. У меня наступили какие-то странные времена. Мало того, что Лаврентий продолжает предавать анафеме поверженных Мишу и Колю, но и со мной последнее время очень суров и неразговорчив. Я как-то спросил его, в чем дело, и он, шлепая своими губищами и не глядя, как всегда, в глаза, сказал: «Ты что, чистоплюй? Ты пьешь вино со своими братьями — заядлыми троцкистами! Делаешь вид, что солидарен с ними, а мы, значит, не правы?.. Тебе что, колхозы не нравятся?.. А слово великого Сталина тебе ничего?..» И пошел, и пошел... Как будто я против колхозов, представляешь? Я не помню, Ашхен, чтобы мы с тобой выражали свое несогласие с линией партии. И Мишу, и Колю мы осудили в свое время. Это же не значит, что мы должны их по-человечески презирать, правда? Пусть катится к черту, интриган! Когда кругом столько истинных врагов и фашизм

поднимает голову, что он привязался к нашим? Знаешь, я хочу встретиться с Орджоникидзе. Он сейчас отдыхает в Сочи. Я хочу попросить отправить меня куда-нибудь в Россию. Здесь вязкое болото, махровый подхалимаж и прочие политические игры... Хорошо, что мама едет к тебе: Кукушка будет в надежных руках. А папу жалко...»

Ашхен поделилась с Изой, с Манечкой, с Зямой. Каждый из них отреагировал по-своему. Иза сказала: «Какое хамство!.. Шалико — само благородство. Ты, Ашхеночка, не переживай. Ты же знаешь, как я люблю ваши колхозы-морфозы... — Тут она насмешливо уставилась на растерянную Ашхен. — Конечно, это противно, — всякие кавказские интрижки, и Шалико должен оттуда уехать... Вообще как-то все странно, ты не находишь?» — «Нет, — сказала Ашхен, — не нахожу... Партия нашла единственно правильную дорогу... Она объединила беднейшее крестьянство. Скоро хлеб потечет рекой...» — «Конечно, — сказала Манечка, но не смогла хохотнуть, как бывало. Лицо ее было похоже на румяную маску. Она чмокнула Ашхен в щеку, но поцелуй получился грустный. — Конечно, конечно... — повторила она, — ешьте хачапури. Пока хлеб потечет, я получила муку по карточкам. Вкусно?.. Ашхен, ты так хорошо выглядишь!.. Пусть Шалико уедет оттуда, — сказала она с набитым ртом. — Как вкусно, а?! Из-за каких-то колхозов ломать голову?..» — «Не говори ерунды!..» — обиделась Ашхен.

«Товарищи, — сказал Зяма, — если бы вы знали, как пролетарии на Западе нам завидуют... И колхозам, и нашей пятилетке!.. Да вы что!..» Манечка наконец рассмеялась, как только она умела. В старом буфете Каминских задрожали цветные стекла. Одну давно разбитую долю Зяма как-то заменил картоном. Получилось прилично. «Когда кончилась война, — сказала Иза, — вы с Ашхен утверждали, что через год мы построим социализм...» — «Да, — усмехнулся Зяма, — ну, ошиблись... ну, я ошибся...» — Тут Манечка хохотнула. — «А ты разве не ошибаешься? Человеку-таки это свойственно...» — «Я ошибаюсь у себя на кухне», — ответила ему Иза, ни на кого не глядя. «Не говорите ерунды», — приказала Ашхен.

Хачапури было горячее, имеретинский сыр в нем таял. «Если бы в гамбургской тюрьме было такое хочипури...» — сказал Зяма... «Хачапури», — поправила его Манечка, «...хачапури — с удовольствием повторил Зяма, — мировая революция потерпела бы крах...» — «Тот, в пенсне, все время спрашивал, не похож ли он на Наполеона», — вспомнила Ашхен как бы между прочим. «Это кто?» — спросила Иза. «Ну кто, кто... — рассмеялся Зяма, — тебе же говорят: «тот, в пенсне»...» — «Я ему говорила, — сказала Ашхен, — нет, на императора ты не похож. Ты похож на Мандрикияна, но он был не в пенсне...» — «Кто? Кто?» — переспросил Зяма, захлебываясь. «Это сторож в ЦК в Тифлисе», — сказала Ашхен, впервые за встречу соизволив улыбнуться. Зяма хохотал. «Какой противный!..» — воскликнула Манечка. «И что он отвечал тебе?» — накатывался Зяма. «Ну, что он, — сказала Ашхен, — злился, конечно, но все-таки говорил: «Пусть не Наполеон, но Банапарт, да? Революционный Бонапарт... Да? Правда? Скажи — похож?..» — «К сожалению, — сказал Зяма мрачно, — в партии есть и такие. Но мы от них избавимся... Не дрейфь, Ашхеночка...» ...Бабуся открывает входную дверь. «Вай!» — восклицает она, видя перед собой сопливую Нинку Сочилину, а за ней строгое лицо Ванванча. «Мы хотим играть дома», — говорит он. «Конечно, цават танем», — улыбается бабуся. И они заходят. «Ты ведь раньше у нас не была? Да, Ниночка?» — спрашивает бабуся. «Ага», — говорит Нинка. Она стаскивает с ног здоровенные пятнистые дырявые валенки, сбрасывает пальто — не пальто, что-то вроде кацавейки с чужого плеча, что-то такое громадное, выцветшее, несуразное. От нее пахнет кислым молоком и сыростью. Бабуся поджимает губы, помогает Ванванчу раздеться. «Не надо, — вдруг говорит он, — я сам». И он уводит Нинку в комнату, а Мария говорит на кухне Ирине Семеновне: «Барышню привел...» — «Ух ты, барышню, — говорит Ирина Семеновна, — хороша барышня — Нинка сопливая... Васька, ее отец, бражник, Верка, мать, потаскуха». — «Нет, нет, — говорит Мария, — зачем же так? Хорошая девочка... Они бедно живут, но она хорошая... Конечно, Жоржетта, наверное, своя была». — «Иде ж она теперь, твоя Жоржетта?.. Тоже ведь баловница... Ее порядку-то не учили, а только тю-тю-тю, лю-лю-лю, прости Господи...» Мария не умеет спорить. Она

представляет, как ее Степан, если бы был тут, ударил бы кулаком по столу... Где Степан? Где? Где он? Неужели уже никогда?.. Ирина Семеновна видит слезы на ее глазах. «Ты чего это, Мария Вартанна, обиделась за девку, аль чего? Да по мне-то все одно, дело ваше, вы ведь господу — чего пожелаете, то и будет». Тут Мария вспыхивает: «Какие господу!? Зачем?.. Тьфу...»

Она уходит в комнату, где Ванванч рисует Нинке высокую гору и объясняет, что это Кавказ... Мария вспоминает, как Сильвия в двадцатом году приносила в бидончике благотворительный суп и кормила им всех. Когда это было? В двадцатом?.. А теперь — господу?.. Какая злая женщина!.. Этот разбитый буфет, этот облезший стол, эти разные стулья — какой позор, и вдруг — господу! А у нее — одна юбка, а у Ашхен — две и платье с белым воротничком, которое ей перелицевала Гоар, и она, инструктор горкома партии, в нем ходит на работу!.. Господу... Они все с утра до вечера трудятся... И все друзья Ашхен трудятся. Зяма сам варит себе кашу, кашу, кашу... уже от нее тошнит, картошку, картошку... Господу... Злая дура!..

Ванванч не прислушивается к разговорам на кухне, но произнесенное Ириной Семеновной имя предательницы долетает все-таки до его слуха, и он застывает в недоумении. Он смотрит на Нинку, слышит, как она посапывает носом, чтобы капелька не упала с кончика, и вспоминает Жоржетту... У Нинки стройные ножки, тоненькие, но не худые. Она в дырявых рейтузах, как тифлисский Нерсик. У нее овальное лицо, чуть бледное, на лбу — русая челочка. Губы красные. Глаза голубые. На руках цыпки. Под длинными, давно не стриженными ногтями — черная каемочка. Жоржетта была полнее, и крепче, и чище, зато Нинка не предательница. Она веселая и добрая. Она постоянно чем-нибудь снабжает Ванванча во дворе. «На, кусни...» И он откусывает от ее горбушки или от морковки, или забивает рот вяловатыми стебельками квашеной капусты, или чмокает соленым огурцом — вот уж праздник! Нинка учит Ванванча нехорошим словам. Он хохочет, попискивает, но знает, что их нельзя произносить ни при бабуся, ни при маме, ни при ком из взрослых. И даже при Нинке он их не произносит, а просит повторить и давится от смеха. Ее только попроси. «А как попка?» — «Жопа!» — говорит она и хохочет громче его. «А как какашка?» — «Говно!».

Приходит в комнату бабуся. Они рисуют, высунув языки. У Нинки с кончика носа готова сорваться капля. «У тебя есть платок?» — спрашивает бабуся. «Не-а», — говорит Нинка и рукавом стирает каплю. «Ах ты, какая глупая! — говорит бабуся. — Ну что же ты рукав пачкаешь? — И она уходит и приносит носовой платок. — На-ка, возьми». — «Ага», — говорит Нинка и хлопает носом.

Вечером Мария жалуется Ашхен: «Представляешь, я ей дала платок, вон он лежит совсем не тронутый. Коранам ес, что за ребенок!.. Понюхай, понюхай, до сих пор этот кислый запах не ушел... Может быть, у нее вши?..» Ашхен вспоминает, как она однажды залетела в тот тусклый подвал и уж нанюхалась там, наслушалась, насмотрелась! «Мама, — говорит она с досадой, — я же не могу запретить им встречаться! Двор общий. Они бедные люди, малокультурные, ну и что?» И она смотрит на спящего Ванванча такими глазами, такими глазами, словно знает, что произойдет через пять лет, всего лишь через пять. Стоит ли беспокоиться о сегодняшних пустяках, когда всего лишь через пять лет!..

Может быть, этим предошущением бедствий и зла и объяснялась ее житейская стремительность, погруженность в дело, а холодок и отрешенность в ее карих миндалевидных горячих глазах — оттуда же? И ее молчание и истошные время от времени вскрики: не так... не то... не туда... зачем!..

А Ванванчу все это нравилось, да он и не мог представить себе другой какой-то мамочки — спокойной, медлительной, очаровательно улыбающейся или поющей на кухне, или старательно и любовно орудующей веником в труднодоступных уголках комнаты. Он *это* любил и *это* знал, и так навсегда.

Жизнь была безоблачна, лишь тревожная мысль об уехавшей, предавшей Жоржетте иногда сокрушала его, но ненадолго. Школа бурлила вокруг, подсовывала разные лица, но они

не запоминались. Главным был двор — его бескрайние пространства с углами и участками, предназначенными для военных столкновений, для «пряталок» и «салочек», для споров и вдохновения, что впоследствии будет пронумеровано и проштамповано как «малая родина» и что потом в разлуке будет вспыхивать в сознании при слове Москва. На этом дворе, в сумерки особенно, хотя не чурались и дневных часов, любили посидеть неведомые люди, торопливо прихлебывающие из алюминиевой кружки, которую им выносила Нинка, люди, кричающие и, как она, утирающие рукавом то нос, то губы. «Молодчага, Нинка!.. Ух, девка будет!..» и Ванванчу: «Ну, чего уставился?» — беззлобно, по-приятельски. Или спрашивали, подмигивая: «Хлебнешь?» Он отказывался. «Правильно. Молоток... Она плохааая... ну ее...»

Ванванч, учтиво улыбаясь, отступает к скамеечке, где сидит бабуся, отступает, отступает. «Что ты там делал? — подозрительно спрашивает бабуся. — Ты не замерз?»

Густеют сумерки. Синий снег лежит во дворе. Нинка утирает нос рукавом своей кацавейки и говорит с удовольствием: «Они ему водку давали...» — «Вай! — восклицает бабуся. — Что такое!?!.. Какую водку?.. Что?..» — «Да он ушел от них, — смеется Нинка, — я вот мамке скажу — она им больше кружку-то не даст...» — «А ты эту водку, гадость эту пробовала?» — спрашивает бабуся едва слышно. «Ага, — смеется Нинка, — она горькая...» — «Вай, коранам ес! — возмущается бабуся. — Да разве можно? Ты что, с ума сошла!.. Ты ведь хорошая девочка...» — «Ага, — говорит Нинка, — у меня папка ее любит...»

Пока они с бабусей поднимаются на четвертый этаж, пока долго раздеваются в прихожей, Ванванч слышит вполуха тревожные причитания бабуся, а сам думает, как построит из стульев вигвам и встретит маму победным кличем ирокезов: «Оха! Оха!» Он пытался и Нинку посвятить в это таинство, но она сказала, давась от смеха: «Да ну тебя!..» — и дала откусить от горбушки.

Тем временем Ашхен, вырвавшись раньше обычного из горкома, тряслась в холодном трамвае по вечерней Москве. Груз пережитого за день не отпускал. Как-то все не вязались благословенные жизнерадостные восклицания ее товарищей с нелепыми и многострадальными обстоятельствами житья; и холодноватая радость в их возгласах как-то не слишком соответствовала тоске в глазах толпы; и душный, липкий шепот о голоде на Украине преследовал ее, и она, хоть и знала этому объяснение, но оно не утешало, и случайные рассказы об эшелонах, забитых до отказа завшивевшими и больными раскулаченными сволочами... Да ведь как много эшелонов! И все ведь женщины и дети, дети, дети... Нет, не чувство вины повергало ее в ужас. До этого было еще далеко. Но «жалкая кучка врагов социализма» — этот привычный и успокаивающий аргумент расползлся и трещал по швам перед эшелонами, уходящими в небытие. Она сидела неподвижно, не выдавая своего смятения, а дремлющие пассажиры, если и взглядывали на нее, видели перед собой молодое, овальное, окаменевшее, прекрасное белое лицо с остановившимся взглядом и красивые белые пальцы, переплетенные до онемения. Впрочем, и у них были такие же лица, даже когда они смеялись многозначительно о чем-то таком малозначительном. А если посмотреть будничными глазами — все было неплохо, если не считать прошлогодней кончины Степана. И Вартан Мунтиков любил Сильвию и сгорал от желания ей угодить. И Люлюшка медленно выздоравливала. И Гоар в Эривани растила детей и ублажала мужа. И Манечка с Алешей Костиным самозабвенно трудились в радиомастерской. И Шалико добрался до Сочи, побывал у Серго Орджоникидзе и вызвал бурю, и Серго кричал, что скоро он покажет этому бакинскому выскочке в пенсне... Шалико его волей был направлен на Урал парторгом строительства вагонозавода-гиганта. И Ашхен сказала как-то Ванванчу: «Скоро мы поедем на Урал к папке...» Но как хотелось в Тифлис! В душный, крикливый, празднолюбивый, томный, не изменяющий себе, пристраивающийся как-то к новым лозунгам, но насмешливый, но вспылчивый, легко возбудимый и отходчивый, как Степан...

Она, задыхаясь, взлетела на четвертый этаж и, делая вид, что внимательно вслушивается в болтовню Ванванча, наскоро поклевала принесенную Марией долму, похвалила, поцеловала мать в щеку и потащила, потащила счастливого Ванванча за собой, скорей, скорей, а то уже поздно, в гости к Амасу, скорей, скорей, он приехал из Парижа всего на какие-то пять дней, он и его молодая жена Зина, русская Зина. Русская? Да, да, рыжая такая, вот увидишь...

Они едут в трамвае, и Ванванч вцепляется в теплые мамины руки, жмурясь от счастья, пока она ему рассказывает шепотом с торопливой небрежностью об Амасе Давидяне, с которым они вместе были в комсомоле... и папа тоже... еще тогда, в подполье, Амас был такой веселый, неунывающий комсомолец, наш товарищ... Однажды он шел по Верийскому спуску, и вдруг из-за угла выскакивают полицейские, представляешь? Как ну и что? У него же за пазухой революционные листовки, представляешь?! Но он от них удрал, удрал... Они кричали, свистели, пыхтели... И пассажиры в трамвае глядят на этих заливающихся смехом.

И вот открывается высокая дубовая дверь, и не успевает вместительный лифт, пропахший неведомыми запахами, исчезнуть, как их встречает тот самый Амас и прислуживает им в громадной прихожей, и слышатся всякие слова, смех, поцелуи. Он в синей шелковой блестящей косоворотке, подпоясанный тонким кавказским ремешком, и в светлых вельветовых брюках, и на ногах у него странные шлепанцы с загнутыми вверх носами. «Какие чусты у тебя!» — говорит Ашхен, оправляя свою старую серую юбку и бежевую блузку, доставшуюся от Сильвии. «Ашхен-джан, какая радость! — кричит Амас. — Как в прежние годы, да?» На его мраморном чистом лице — два черных глаза, и черные блестящие волосы зачесаны назад, и на пальце золотое кольцо, и острый аромат неведомого благополучия витает в воздухе, и Ванванч, замерев, представляет, как этот человек бежит от полицейских, сияя белоснежной улыбкой. «Зина! — кричит Амас. — Встречай дорогих гостей, дорогая!»

У Ванванча кружится голова от размеров прихожей, а затем они входят в бескрайнюю комнату, в конце которой — дверь в другую, из которой появляется Зина, рыжая, как клоун в цирке, красногубая, зеленоглазая, в зеленом же переливающимся платье и очень добрая, как мгновенно устанавливает Ванванч, восхищенный этими красками, запахами, белозубыми улыбками... «Ты совсем обуржуазился, Амас», — растерянно шутит Ашхен. «Ах, Ашхен, — смеется Амас, — не придавай значения, цават танем, в нашей заграничной жизни необходим камуфляж... А то не будут с тобой разговаривать... Инч пити анес?..»* — «Приходится держать марку, — смеется Зина. — Вообще-то мой обычный костюм — это фартук, да, да...» — «Скоро мы все будем жить так, — говорит Амас, — что тут особенного, вот так: отдельная квартира, хорошая еда, сколько хочешь, и полная гармония...» — «Да, да, — улыбается Ашхен, — конечно...»

Потом они сидят за круглым низким столом, и перед Ванванчем возвышается целая гора свежих эклеров. Это такая редкость!.. «Можно мне взять пирожное?» — нетерпеливо спрашивает он. «О чем ты спрашиваешь, генацвале! — смеется Амас и кладет на тарелку сразу два. — Когда эти съешь, сразу же получишь еще...» Зина приносит и разливает чай по изысканным чашечкам. «Это мейсенский фарфор, — говорит она как бы между прочим, — красиво, правда?» — «Да, да, да, — машинально подтверждает Ашхен и спрашивает у Ванванча: — Ты что это ешь, такое замечательное, обжора? Вкусно, да?» — «Почему обжора?» — застывает Амас. — Слушай, Ашхен-джан, может, по рюмочке коньячку?..» — «Что ты, что ты, — торопливо бормочет Ашхен, — совсем лишнее... — и потом улынувшись: — А ты помнишь, как убежал от полицейских?» — «Вах! — хохочет Амас. — Еще бы, черт возьми! О, как я бежал! Почти летел!» — «И они не могли догнать?» — спрашивает Ванванч, не скрывая восхищения. — «Еще бы, — говорит Амас, — они были в тяжелых сапогах, такие жирные, глупые, злые... — ему нравится, как заливаются Ванванч, — а у меня на ногах знаешь, что было?.. Старые чусты, вот такие, — он выставляет ногу, — но те были старые, без этих фокусов, ну, простые, ну, ты знаешь... Ух, как я бежал!..» — «Страшно было?» — замирает Ванванч. — «Ух, как я боялся!..» — «Ничего себе революционер», — смеется Ашхен. «Нет, нет, — говорит Амас, — лучше кушать эклеры, — и гладит Ванванча по головке, — правда, Кукушка?» — «Нет, не лучше», — твердо говорит Ванванч и краснеет. «Какой замечательный мальчик! — говорит Амас. — И вылитый Шалико... Кстати, хорошо, что Шалико вырвался на Урал... Там, знаешь, здоровая рабочая среда и никаких кавказских штучек...» Ашхен горестно вздыхает.

* Что поделаешь? (арм.).

Отведав эклеров, Ванванч слоняется по комнате, пораженный ее размерами, и вдруг у самого окна видит чудо: круглый полированный столик. На его лоснящейся поверхности вырисовываются черно-белые клетки, уставленные громадными костяными шахматными фигурами. Фигуры располагаются друг против друга. Две армии — розовая и голубая. Мрачные, насупившиеся, сосредоточенные воины с колчанами на спинах, со щитами и мечами. Изысканные томные офицеры в широкополых шляпах с перьями. И короли в ниспадающих мантиях. И королевы с таинственным улыбками. И кони, вставшие на дыбы... Волшебное царство тяжеловесных фигур, застывших в предвкушении поединка. «Ой!» — всплескивает руками Ванванч. «Тебе они нравятся? — спрашивает Зина. — Ему понравились шахматы, — говорит она Амасу и объясняет Ашхен: — Мы везли их из Парижа. Представляете, такую тяжесть! Кошмар...» — «Красивые», — вежливо отзывается Ашхен.

9

И вот Ванванч уезжает на Урал! Урал — какое странное и торжественное слово. Ванванч торопится, суетится. Конец лета. Ему уже стукнуло десять. Позади третий класс. Самый разгар второй пятилетки. Зяма сидит где-то в фашистской тюрьме. «Социализм ведь уже скоро?» — «Ну, конечно», — улыбается мама. В Германии фашисты жгут книги и расстреливают рабочих. Ванванч мечтает умереть на баррикаде. Бабуся на кухне вздыхает у плиты. Ванванч, наконец, стал пионером. Первые дни он относился к своему пионерству крайне возвышенно и торжественно, потом это как-то прошло, утихло. Но первые дни он ходил по школе и даже по домашнему коридору горделивой походкой посвященного в великую тайну. Он просил бабуся каждый день гладить ему красный галстук. Он каждый день тщательно изучал металлический зажим для галстука, на котором алели красные языки пионерского костра, изучал с волнением, потому что по школе ползли зловещие слухи, что тайные вредители умудрились выпустить некоторые зажимы, где, если всмотреться, проступает профиль Троцкого или фашистская свастика. Убедившись, что это его не коснулось, он облегченно вздыхал, но каждый день просматривал зажим снова.

И вот теперь Урал. Неведомая далекая земля. Граница между Азией и Европой. Он суетится. Лихорадка расставания свойственна всем. Что бы там ни утверждали законченные снобы или просто люди, страдающие самомнением, они тоже подвержены этому содроганию, тайному или явному. Он суетится. Он жаждет окунуться в новые пространства и ждет этого скорого путешествия, но он уже умудрен маленьким опытом и знает, что Арбата с собой не возьмешь и там, вдали, обязательно возникнет ноющая боль где-то в глубине груди или живота, а может быть, и в затылке, кто его знает. И вот он суетится. Запоминает. Смотрит на Настю особым долгим взглядом, исподтишка, или прикасается повлажневшей ладонью к выцветшему теплomu сукну на бывшем письменном столе Каминских, или долго смотрит из окна на живой и равнодушный Арбат!.. Нет, он не страдает, он даже не раздумывает над этим, он просто останавливает взгляд на лицах и предметах. Природа...

Теперь забота о сборе одежды — дело взрослых, а в маленький, тот самый, чемоданчик укладываются «Робинзон Крузо» и тетрадь в клеточку, куда он будет заносить свои впечатления об увиденном на Урале. Это он решил в последнюю минуту. Прекрасная идея, и он говорит бабуся как бы между прочим, но внимательно вглядываясь в выражение ее лица: «Это для дневника... Буду вести дневник...» Бабуся счастлива. Он обращается к маме: «Хорошая тетрадь для дневника, правда?..» — и видит, что мама как-то по-новому смотрит на него.

Да, вот какая важная и чуть было не упущенная мною деталь. Все это происходит в присутствии Сиро и ее молодого мужа Миши Цветкова — лейтенанта авиации. Он летчик-истребитель. Он худощав и жилист. У него загорелое лицо, темные волосы и насмешливая гримаса, когда он говорит даже о серьезных вещах. Ванванч восхищен им, потому что он летчик, но Миша почему-то разговаривает с ним несколько пренебрежительно, без умиления, и это насмешливое выражение сухого лица и непривычное невнимание к достоинствам Ванванча

самого Ванванча удручают. И ему кажется (он заставляет себя так думать), что Миша еще просто не успел понять, как прекрасен Ванванч, которого все любят, ну, может быть, кроме Ирины Семеновны, да ведь она чужая... И Ванванч старается особенно в присутствии летчика выложить на блюде свои главные достоинства. Ну, например, он показывает маме тетрадь для дневника и громко, посматривая на Мишу, объясняет о своем намерении, и мама делает большие глаза: «Да что ты говоришь!» И Миша, небрежно перелистав тетрадь, смеется, обидно выпячивая красные губы: «Да брось ты врать!» — «Миша, как тебе не стыдно! — одергивает его Сиро. — Кукушка не говорит неправду...» «Не люблю, когда врут, — кривится Миша. — Да ты вел когда-нибудь дневник? Аааа... вот тебе и ааа...» — «Ну, хватит», — говорит Ашхен, и в ее больших карих глазах появляется свинец. «Слушаюсь», — говорит Миша и скалит аккуратные зубы.

С Урала приезжает папа, чтобы перевезти семью. Вот он ходит по комнате в белой сорочке с отложным воротничком, в черном пиджаке, в старательно начищенных хромовых сапогах. Из-под рукавов виднеются тонкие папины запястья. Короткие черные усики над верхней губой топорщатся при улыбке, и ямочка на подбородке, любимая ямочка, с ранних лет восхищающая Ванванча. Как хорошо, когда папа улыбается. Тогда поблескивают его ровные зубы, ямочка на подбородке шевелится, глаза увлажняются, и возле них возникают складочки. Он любит посвистывать, подражая соловью. Многие из мелодий Ванванчу знакомы.

Вообще сборы в дорогу вдохновляют, не так ли? Но почему-то нестерпимо влечет во двор, где часть души, где Нинка в ветхом замызганном платьишке, наверное, скачет через веревочку, а Витька-кулак — ее младший брат, презираемый всеми, ходит от одного к другому и канючит: «Дай хлебушка, ну дай... дай семечек... дай курнуть... у, сука!..» Его отталкивают, даже, бывает, и ударят, он утрется, отскочит в сторону и, когда его позабудут, швырнет камнем в обидчика, бежит к своему подвалу, кричит истошно: «Мааам, чего они!..» И тут выскакивает тетя Вера, бросается на всех сразу, а Витька хохочет и кричит: «Дай им, заразам! Дай им!..» У него бледное острое лицо, бледные злые губы, льняные масляные волосы. Он размахивает синим кулачком. Его презирают, но он свой, свой, и это он в весеннюю распутицу, когда весь дом превращается в ледяное болото, а все жмутся на небольшом пяточке, чтобы не промочить валенки, — и когда в пылу игры чья-то шапка или варежка улетает на середину этого болота и набухает там и гибнет на глазах, это он подликующие крики, поджав бледные злые губы, упрямый и склочный, входит в воду, благодетель, вымокает насквозь и спасает. «Ты что ж это творишь, негодник!» — кричат няньки с лавочки, и тетя Вера опять выскакивает из подвала и бьет теперь уже его — по шее, по затылку и уводит со двора.

Это так привычно, что без этого двор — не двор. Потом все мирятся, и начинается игра в казаков-разбойников или во что-нибудь еще. Потом все сидят рядышком на бревне. Юрка Холмогоров, самый сильный из них, губастый, с широким лицом, все время подбивается к Нинке, а она отодвигается к Ванванчу. Ванванч рассказывает ей о Пантагрюэле, но она смеется: «Да ну тебя!..» Сережка Желтиков в аккуратной курточке с белым воротничком, чистый и голубоглазый; Петька Коробов, приземистый, ловкий, главный умиротворитель и танцор. «Кто это Пантагрю... как?.. грюэль? Ловкий и хитрый?.. Это вроде меня? Да?..» И нынче тянет во двор, когда бы не недавнее происшествие, еще часто вспоминаемое дома то ли благожелательно, то ли с осуждением. Это случилось уже на исходе зимы. Нинка в своей кацавейке трудилась, скатывая снежный ком, иногда подсовывая Ванванчу черную горбушку. В сочинском окне, за стеклом, подавал унылые сигналы Витька-кулак. «Иди гулять!» — крикнул Ванванч. Витька замотал головой, замахал руками. «А у него пальта нет», — сказала Нинка. «А вчера? — спросил Ванванч. — Как же он гулял вчера?» — «А я-то дома сидела, — сказала Нинка, — а он в моем пальте ходил...» Действительно, Ванванч вспомнил, что на Витьке была эта же кацавейка. Он снова посмотрел в окно. Витька, приникнув к стеклу, разевал рот и что-то кричал.

Ванванчу стало Витьку жалко. Неведомая сила повлекла его по умирающим сугробам в сочинский полуподвал. Нинка закричала вслед что-то бестолковое, пронзительное. Он отмахнулся, и она засемила следом и почему-то громко смеялась. Он ворвался в духоту и

кислую вонь, и в желтом слабом свете лицо его казалось желтым. Тетя Вера гладила. Витька сидел на подоконнике. Тут все перемешалось: Витька соскочил с подоконника, по-обезьяньи замахал руками, тетя Вера застыла с утюгом в руке, Нинка заливалась на пороге. Ванванч успел заметить, что произвел впечатление, но это было лишь преддверие праздника. Тут он скинул свое пальто, недавно купленное ему, подбитое простеганной ватой, на блестящей коричневой сатиновой подкладке, с коричневым же воротником из крашеного кролика, теплое пальто, пахнущее магазином, он скинул его и выкрикнул в пространство: «Вот, пусть Витька носит!..» — и посмотрел на тетю Веру, как она стоит, разинув рот, и откидывает волосы с потного лба, как она поражена случившимся. Это *он* поразил ее, и в вытаращенных ее глазах — то ли гнев, то ли восхищение... «Да ты что это! — выкрикнула она. — Да ведь дома заругают!..» Витька тут же вцепился в пальто. «Во дурень! Ой, мамочки!..» — крикнула Нинка. Ванванч оборотился к Нинке. Она приплясывала в дверях. Ему было приятно от всего происходящего. Что-то горячее переливалось в груди. «Да это ж нельзя... — пробормотала тетя Вера с укоризной, — как же ты это... чего это?..» — «Это мое пальто, — заявил Ванванч решительно, — пусть Витька носит. У меня другое есть.. Мне другое купят...» Витька уже натянул подарок. Белыми жадными острыми пальчиками застегивал. «Ух, дома тебе дадут!..» — сказала Нинка. Но тетя Вера уже любовалась сыном, и оглаживала пальто на нем, и взглядывала на Ванванча, и всякий раз, как он ловил на себе ее взгляд, ему становилось жарко, и голова приятно кружилась. «Мое пальто, — бормотал он, — что хочу, то и делаю...» — «Ух, бабуся тебе даст!» — кривилась Нинка, но в голосе ее было ликование, и тетя Вера сияла. «Какой же ты добрый, — приговаривала она, поглаживая пальто, — вот спасибоочки... вот уж подарочек!.. Ну, что сказать надо!» — крикнула она и стукнула Витьку по затылку. Витька церемонно поклонился. Ванванч проглотил эту порцию признательности. Праздник был в самом разгаре. У тети Веры горели щеки. Ванванч упивался...

Он не помнил, как добежал до своего подъезда и, задышавшись, взлетел на четвертый этаж, с тайной надеждой, что вот распахнутся двери нижних квартир и громкий хор восхищения выплеснется ему вслед.

Бабуся ничего не могла понять. Она делала большие глаза и причитала, но он был строг и неумолим, и даже топнул ножкой, обутой в валенок с галошей. «Балик-джан, — бормотала бабуся, — цават танем, что ты сделал! Мама будет сердиться, кянкит матах!» — «Нет! — крикнул он, очарованный недавним праздником. — Это мое пальто!.. Мое!..» В этот момент раздался звонок в дверь, и на пороге выросла тетя Вера с безумными глазами. В руках она держала его пальто, но он уже был неудержим, он рассказывал то Ирине Семеновне, то Насте о том, что он совершил вот только что, сейчас и как Витька был счастлив, и при этом глаза Ванванча сверкали, и все тело била мелкая дрожь. Бабуся тем временем вытащила из стенного шкафа его старое повытершееся пальтишко и вручила его тете Вере. «Вот, вот, возьми, пожалуйста... это будет хорошо... пусть носит...» — «Ну, спасибоочки, — кланялась тетя Вера, — вот уж Витька сподобился, дурень-то мой, ну надо же, Господи!..»

Теперь она держала подарок не дрожащими руками и глядела на всех не с виноватым безумием, а по-хозяйски вцепившись и прижимая к груди, и, уже позабыв Ванванча, кланялась бабусе. «Да ить совсем новое пальто!.. И Витьке, дураку моему, будет впору: он ить поменее, чем ваш-то... Ну надо же, спасибоочки...» Она держала пальто под мышкой, ветхой стертой подкладкой вверх и кланялась, кланялась.

...В международном вагоне поезда Москва — Свердловск они разместились таким образом. Этот шоколадного цвета вагон, с мягкой ковровой дорожкой в коридоре, не был похож на все остальные вагоны состава — зеленые, пыльные, с грязными стеклами окон, тускло освещенные, забытые суетливыми пассажирами, только что поданные к перрону и уже истоптанные, замусоренные, утопающие в крике и табачном дыму.

В международном вагоне из плафонов распространялся мягкий свет, посверкивали хорошо начищенные медные детали, бесшумно отворялись двери в двухместные купе, где на подоконных столиках сияли громадные настольные лампы под красными, желтыми, синими, зелеными

абажурами, и уютные, теплые диванчики примыкали к столу, а дверь в ароматный умывальник была украшена ажурным узором из тщательно начищенной меди, и было тихо, добротное, и приглушенно звучали голоса лениво разместившихся пассажиров.

Бабуся и Ванванч устроились в одном купе, а мама и папа — в соседнем. Ванванч немедленно взобрался на верхнюю полку по медной лесенке, но тут же соскочил вниз, включил настольную лампу и выключил. Обживался... Вдруг оказалось, что в соседнее купе не нужно проходить через коридор, а папа, посвистывая, раздвинул стену, и оба купе соединились.

Затем возник солидный вкрадчивый неторопливый проводник с подносом, уставленным стаканами в тяжелых подстаканниках из минувших времен, слегка склонил голову и удалился с таинственной улыбкой. «Ва, — сказала Мария, — какой господин!..» — «Это уже чересчур... — пробормотала Ашхен, — ну, что такое в конце концов!..» — «Ничего, ничего, — засмеялся Шалико, — мы ведь тоже люди...» Он был смущен. Он поглядывал на накупившуюся Ашхен, насвистывал что-то из «Кармен», и соловьиный его свист звучал на этот раз прерывисто и непривычно. «Черт его знает, — сказал он, — когда я заказывал в ЦК билеты, я думал, что будет обычный вагон...» — сказал он и вновь засвистел еще громче.

Я слышу теперь эту ликующую трель, распадающуюся во времени, и понимаю, теперь-то я понимаю, какие в ней были затаены горестные предчувствия, как обманно было ее ликование. Вот точно так же и военные оркестры, играющие бравурные марши, ну, самые что ни есть... — не сулят ли печали и утрат? Но это я понимаю лишь теперь.

Оказалось, что в соседнем купе обосновались двое американцев, муж и жена, и Шалико, покуривая в коридоре, познакомился с ними. Они тоже ехали в Нижний Тагил. Сайрус Норт неплохо говорил по-русски. Он был инженером-металлургом. Он обожал социализм и мечтал принести русской революции пользу. Громадный, тучный. Лицо мечтателя. Очки в роговой оправе. Тонкие красные подтяжки, приводящие Ашхен в смятение. Шалико нужно было ее успокаивать и объяснять, что у американцев так принято: подтяжки наружу, они все такие, не обращай внимания... Ну, подумаешь — а в общем-то что в том плохого?.. «Все-таки подтяжки», — пожимала плечами суровая армянка. Жена инженера Норта, Энн, Аня, старательно зубрила русский, поддакивала мужу, непрерывно улыбалась. Шалико и Норт обменялись куревом. Шалико угостил Норта «Казбеком», отчего инженер долго кашлял. Норт достал металлическую коробочку и проделал фокус: он уложил на дно коробочки листок папиросной бумаги, насыпал на нее горстку ароматного табаку, захлопнул крышку и дернул за короткую ленточку. Тотчас из коробочки выскочила аккуратная сигарета, которую закурил Шалико. Все были поражены замечательным приспособлением. Шалико тут же под смех окружающих принялся сооружать подобное же, используя пустую коробку из-под «Казбека». Инженер расточал советы и комплименты. Ванванча сотрясала гордость за отца.

Ко времени обеда прибор был сооружен, и все радостно ахнули, когда из наспех прорезанной ножом щели выскочила готовая сигарета. Норт похлопал Шалико по плечу. Аня хохотала на весь вагон и кричала «браво!». Редкие молчаливые пассажиры в вагоне поглядывали на распахнутую дверь купе неодобрительно.

За окнами тянулась бесконечная тайга, приводящая американцев в сильное возбуждение. На маленьких станциях было грязно. Платформы заполняли серые унылые толпы, и Ашхен очень расстраивалась, что американцы видят нашу страну столь неприглядной. «Что они подумают! — шептала она Шалико. — Ну, что же это такое!..» Он успокаивал ее тоже шепотом: «Ну, о чем ты? О чем?.. Они же понимают, что сразу ничего не бывает. И потом у них там сейчас кризис — это еще страшнее...»

Сайрус Норт на все смотрел с восхищением. Крупное лицо его сияло, хотя в этом сиянии улавливалась некоторая зыбкость.

Марию тоже удручали станционные платформы, хотя она не высказывала своих огорчений, щадя Шалико. Ей были непонятны и таежные пространства, и вообще бескрайность до горизонта, и вообще само понятие горизонт. Отсутствие надежной границы, видимой и даже осязаемой, меж пятачком, на котором находишься ты, и бесконечностью — это никак не

укладывалось в ее кавказском сознании. Где горы? Где уютные рощи, доступные глазу? Где извилистые дороги над бурными речонками? Лишь таежное море и редкие возвышенности, и вдруг степь, не имеющая окончания, и вдруг река, текущая в неизвестность, и дорога без начала и без конца... Ее мучил, шел за нею следом Кавказ, шелестящий и благоухающий где-то совсем рядом, за спиной, и мучило отсутствие Степана. Бедность и добропорядочность не продлили ему дней, хотя давешний претендент на ее руку, миллионер Дадашев, ушел еще раньше. В глубокой тайне от всех окружающих она иногда вспоминала себя в том прошлом, в зеркале или в глазах почитателей, когда ей было шестнадцать лет и была она ничего себе, хороша. Что тут было, когда уже немолодой, окруженный легендами миллионер с тонкими усиками на бледном лице попросил вдруг ее руки!.. И все будто должно было сладиться, как вдруг мать Марии отказала жениху, заявив, что чем хлебать горе из золотой чаши, лучше уж маленькие радости — из глиняной плошки, и таким образом споспешествовала тайной приязни Марии и Степана... Где ты, Степан? Как быстро все проходит!.. И теперь, когда она готовила вагонный завтрак, тщательно и с любовью сооружая по бутерброду каждому, она не забывала соорудить еще один, который предназначался Ему. «Мама, а это кому?» — смеялась Ашхен. «Пусть будет, — тихо говорила Мария, — вдруг кто-нибудь захочет...»

Шалико уже хлебнул уральской жизни. Он приехал на место в тридцать втором, переполненный жаждой переустройств и созидания. В пятнадцати километрах от Тагила бушевало строительство вагонного гиганта. На громадной вырубленной поляне в вековой тайге выстраивались бараки, простирались засыпанные снегом котлованы под будущие цеха. Еще только планировались двухэтажные брусковые дома для инженеров и техников, но уже закладывалось круглое дощатое здание заводского клуба — Дворца культуры, как его было принято с пафосом именовать. Конечно, первое время энтузиазм Шалико перемешивался со смятением, потому что непривычны были после городской тифлисской жизни несметные толпы полуголодных рабочих в дырявых стеганках, потрескавшихся овчинах и в старых шинельках, в лаптях и галошах, подвязанных бечевками. Он видел их глаза и лица со впалыми щеками, и страшные слухи о царстве вшей и угрозе тифа не давали покоя. Снег и мороз были непривычны.

Ему как парторгу ЦК выдали валенки и овчинный полушубок. «Нет, нет, — запротестовал он. — Да вы что!.. Нет, я уж в своем... Что за чушь?..» — «Да вы берите, берите, — заискивающе засмеялись в ответ, — носите пока, так все носят... А после уж приоденетесь сами... А то вон ведь у вас пальтишко-то кавказское, на рыбьем меху, понимаешь... Куда вы в нем?» И уговорили. И еще добавили непререкаемо: «Сам Серго распорядился».

Он ходил по баракам и задыхался от смрада. Всякий раз вздрагивал, попадая в это адское жилье, словно погружался в развороченные внутренности гниющей рыбы. Он не понимал, как можно так жить. Эти люди, теперь зависимые от него, жили семьями, без перегородок, здоровые и больные, и их дети. Деревянные топчаны были завалены ворохами тряпок, а на большой кирпичной плите в центре барака в многочисленных горшках и кастрюлях варилась зловонная пища. «У нас-то хорошо, светло, — говорили ему, — а вон в тоом бараке, у них нары двойные, не налазишься...» — и тыкали пальцем в сторону окон, давно не мытых и слепых. Так встретила его новостройка. Он сказал как-то молодой девице в грязной кофте: «Ничего, скоро все будет хорошо... Каждой семье по отдельной комнате дадим... Потерпеть надо...» Она деланно рассмеялась. «Да тут много нытиков, — сказала она, — но мы их обстругаем. Еще не такое терпели. Верно?..» — «Верно», — сказал он с сомнением. И подумал: не притворяется ли?..

В бараке для инженеров ему выделили комнату, железную койку с матрасом и стол со стулом. Он наслаждался ночным тревожным одиночеством и тишиной после дневных тягот, но ночи были коротки, а дни все-таки бесконечны. Что его поразило в первые дни, так это обилие кулацких семей. И с ними, с этими противниками новой жизни, он должен был строить новую жизнь! Но постепенно привык. Бывшие кулаки трудились основательно. Это утешало. Он думал, что отношение к труду в конце концов определяет реальную стоимость человека. Вот тут, глядя на этих людей, он вдруг снова, в который уже раз вспомнил фразу, выкрикнутую Гайозом Девдариани в алма-атинской ссылке, выкрикнутую с отчаянием его старшим братьям Мише и

Коле: «Да что горийский поп?!. Сами-то чисты ли?..» Он вспомнил и вновь с прежним ожесточением подумал: а чем не чисты? Тем, что хотим хорошей жизни для этих людей?!. Ничего, думал он, мы их всех постепенно переделаем, пусть они замаливают свои грехи, думал он. И время от времени вспоминал лохматую девицу из барака. Кто она? Если кулачка, откуда же эта бодрая комсомольская решительность?

Все стало значительно труднее, чем в прежней городской жизни: там он четко различал в далекой неправдоподобной деревне зловещие силуэты мелких собственников... Здесь, столкнувшись с ними, разглядел лица, которые не вязались с недавними представлениями, — это мучило, и он уже искусственно возбуждал себя, стараясь воротить вчерашнюю жесткость.

Однако так было в тридцать втором, а к августу тридцать четвертого успели понастроить новых бараков и не только казарм, но и разделенных на отдельные комнаты. Лучших из лучших вселяли в новое жилье. Были основания для больших празднеств... Эта кулачка из барака оказалась вполне сносной особой. Он встретил ее как-то в выходной день, она заулыбалась ему и стала что-то торопливо рассказывать о своих буднях. Вполне была миловидна, и розовое проступало на щеках, а стоптанные башмаки не казались грубыми. Она работала на укладке бетона. «Наверное, нелегко?» — спросил он. «Ага, — сказала она большому начальнику, — учиться охота». — «А ты из деревни?» — «Ага», — и потупилась. «Что это тебя на бетон-то потянуло?.. Сама придумала?» — спросил большой начальник, догадываясь обо всем, «Да ладно, — отмахнулась она, — какой дурень сам-то на бетон позарится...» — «И родители здесь?» — спросил он, внезапно разволновавшись...

Она стояла перед ним, переступая с ноги на ногу — то ли торопилась уйти, то ли ждала чего-то... «Не, маманя со мной. А боле никого нету...» Глаза у нее были маленькие, голубые, влажные. Она прятала их, но он разглядел. «Слушай, — сказал он, — ты зайди ко мне в партком, знаешь, где?..» — «Ага», — сказала она. «Зайди, может, что придумаем насчет учебы или работу полегче...» Она попыталась улыбнуться, но не получилось и сказала, кривя губы: «Да ладно, нешто я нытик какой?..» Ее звали Нюра. Она пришла в партком дней через десять. Секретарша, сдерживая смех, сказала: «К вам тут Нюрка-бетонщица рвется. Впустить?» Он с трудом вспомнил. Нюра сидела перед ним на табурете в драном ватнике, вся в цементе — и одежда, и серые впалые щеки. И глаза казались пустыми — голубизна исчезла. «Пойдешь на маляра учиться?» — спросил он. «Ага», — выдохнула она как-то безразлично. Когда уходила, благодетельствованная, он было протянул ей руку — как младшему товарищу, но остановился. Вспомнил, что она из этих... Ничего, подумал он, выучится — сама все поймет. Она выходила из кабинета, тяжело переступая ногами, обутыми в лапти. На пороге обернулась и прошелестела без улыбки: «До свиданьица... Спасибоочки...»

Потом он, уже позабыв о ней, встретил ее зимой тридцать четвертого. На ней был рабочий комбинезон, покрытый пятнами краски. Она сама подбежала к нему, когда он вылезал из саней. «Ну, как малярные дела?» — спросил он. «А у меня маманя померла...» — сказала она. «Как же ты одна, Нюра?» — «А мы не нытики, — продекларировала она, — проживем!» — «Нюра, — сказал он, — надо бы тебе грамоте учиться». — «Ага, — сказала она, как обычно, и спросила, хихикнув: — А на кой?..» — «Ну, все-таки, — растерялся он, — передовая советская женщина должна быть грамотной». — «Да ладно», — рассмеялась она. Нос был красен от мороза. Когда смеялась, разевая некрасивый рот, были видны белые острые редкие зубы. «За хорошего комсомольца замуж выйдешь, — сказал он, — как же без грамоты?..» Она покраснела, выкрикнула свое «до свиданьица» и пошла прочь.

...А поезд меж тем шел. Пока все отдыхали в послеобеденное время, Ашхен стояла в коридоре у окна, будто бы внимательно всматривалась в плывущую мимо тайгу, а сама думала, что Шалико за год с лишним в Нижнем Тагиле как-то резко изменился, может быть повзрослел, подумала она с насмешливой грустью. От него исходила жесткость. Исчезало недавнее южное обаяние. Исчезало даже мнимое легкомыслие, сквозившее обычно в его юношеской улыбке. Она знала об уральском житье из его отрывочных рассказов, окрашенных в счастливые тона. Но что-то за всем этим было, что-то было...

Он не любил жаловаться или высказывать свои недоумения, или, того пуще, паниковать по поводу своих просчетов. Крушение иллюзий даже относительно себя самого не вызывало потребности истерично раскаиваться, но что-то такое отражалось в его глазах, будто бы беспечных, будто бы смеющихся.

Вчера Ашхен увидела в его шевелюре множество седых волосков. «И это у тридцатитрехлетнего?!» — подумала она с тревогой. Этот красивый молодой мужчина — ее судьба, часть ее крови, отец Кукушки, в возрасте Христа... Тут она расхохоталась в пустынном коридоре вагона... Но спохватилась, умолкла и вдруг услышала сквозь мягкое постукивание колес, как распахнулась дверь тамбура и знакомый голос проводника произнес хрипло и надменно: «Ну, куда, куда поперли!..» И испуганный женский голос в ответ: «Да намить в шашнадцатый пройтить!..» — «Нечего через вагон шастать, — сказал проводник, — дождись остановки и по платформе ножками!..» — «Да пусти, дядечка, — залопотала женщина, — я же с дочкой вон иду!..» Тут Ашхен не удержалась и подскочила к тамбуру. Там стояла женщина в пальто, похожем на старую шинель, в лаптях, за хлястик шинели цеплялось тощее существо в материнской, по всему, кофте. Обе востроносенькие и неопрятные. Проводник резко обернулся — то ли на звук шагов, то ли гусиное шипение послышалось ему. И он увидел свою молодую серьезную пассажирку. «А ну-ка, дайте людям пройти! — задыхаясь приказала она. — Этто что такое!.. А ну-ка!..» — «Да чего им тут ходить? — забубнил проводник, но пропустил злополучную парочку. — Только грязи натаскают». — «Не ваше дело! — заявила Ашхен фальцетом. — Как можно!..» Коридор наполнился пассажирами.

Уже приближался Шалико. Из-за его спины, вскинув брови, с интересом глядел американец, и Ванванча заспанное лицо колебалось в дверном проеме. «Что? — спросил Шалико, подбегая. — Что такое?!» — «Да я ж шутю!..» — осклабился проводник. «Что случилось?» — спросил Шалико. «Ничего, ничего, — сказала Ашхен как-то отрешенно, — дай пройти людям!..» Женщина, сосредоточенно наклонив голову, медленно двигалась по коридору, и девочка ее, словно тень, плыла следом.

И вот они поравнялись с Ванванчем, и он узнал их! Он узнал их!.. Они выросли из евпаторийского пляжа, из золотого летнего песка, неуклюжие, неприбранные, и оказались в пестрой курортной толпе, лижущей розовое мороженое, эта странная парочка — женщина почему-то в пальто, похожем на шинель, летом — и в плотной косынке, укрывшей всю голову. Дряблые щеки несвежего цвета из-под косынки. Там она босая, а тут в лаптях... И за ней семенит смешное существо на тонких ножках, в заношенной юбочке и в дырявой кофточке с чужого плеча. Она впивается острыми глазками в чужое мороженое, и на острой шейке шевелится комочек, и кончик язычка время от времени проводит по сухим губам... Да это же она! Ванванч застыл в оцепенении, а парочка мелькнула мимо. «Нюра?!» — крикнул вслед Шалико с сомнением. Женщина обернулась на секунду и помчалась дальше, волоча за собой девочку, словно куклу. «Какая Нюра?» — спросила Ашхен. «Нет, это не Нюра», — облегченно засмеялся Шалико. «А что за Нюра?» — продолжала настаивать Ашхен, но как бы между прочим. «Малярша с Вагонки, — сказал Шалико, — показалось, что она... спина и лапти похожи... ну, в общем, из бывших кулачек!..»

Призрак Нюры мелькнул и растаял. Шалико посмотрел на Ашхен. Она улыбалась. За окном вагона пылала тайга под заходящим солнцем.

Ау, мое прошлое! Такое далекое, что нету сил воскрешать все это. Прощай, прощай! — кричу я нынче все тише и тише, то ли стыдась, то ли задыхаясь.

«Урал, — говорит папа Ванванчу, — это граница между Азией и Европой». — «А там есть пограничники?» — спрашивает Ванванч, погружаясь в сладкий вагонный сон.

Совсем недавно, к приезду семьи Шалико получил на Вагонке квартиру, трехкомнатную, в новом брусковом двухэтажном доме. «Не чересчур ли это?..» — спросил он у начальника строительства вагоногиганта. «Не считаю, — резко заметил тот, — парторг ЦК должен иметь нормальные бытовые условия». — «Это, конечно, приятно, — усмехнулся Шалико, — но ведь есть многодетные семьи!..» — «Всех обеспечим со временем, — отчеканил начальник,

— парторг не может жить в бараке... К вам же семья едет!..» — «Едет», — вяло согласился Шалико.

В новую квартиру завезли случайную мебель. Как-то все расставилось.

«Неужели три комнаты?» — спросила уже в поезде Ашхен. «Представь себе», — рассмеялся Шалико. Он преподносил подарок. При этом следовало улыбаться, и кланяться, и выражать любовь. Но смех получился растерянный. «А у других?» — спросила Ашхен сквозь зубы. Шалико взглянул на американца. Тот широко улыбался своей Анюте, не прислушиваясь к их тихому диалогу. Американец был счастлив, что въехал в социализм, и это почему-то начало раздражать Шалико. Он сказал Ашхен: «А что у других?.. Вон у начальника строительства целый дворец на Пихтовке... Что такое три комнатки?..» — «А у других?» — повторила Ашхен.

...Ночь. В поезде все давно спят. А Шалико медленно входит в подъезд своего нового дома и поднимается по свежим деревянным ступеням на второй этаж. Светло. Горит яркая электрическая лампочка.

Ступени еще не рассохлись. Они выкрашены красной краской. Стены светло-зеленые. Нет застоявшегося барачного духа. «Умеем строить», — думает он и у дверей своей новой квартиры видит неподвижную Нюру. «Что ты, Нюра, дорогая?» — «А ничаво, — говорит Нюра, поблескивая мелкими зубками, — может, думаю, чего помочь?» — «А что помогать? — пожимает он плечами. — Все давно уже сделано... Ну, зайди, погляди, раз уж пришла».

Он всюду зажигает свет и водит ее по квартире. Он немного суетлив, и это его смешит, но и озадачивает: молодая женщина ходит по его дому. Она не ахает, не всплескивает руками, но маленькие ее голубые глаза широко распахнуты, и в них разливается детское восхищение: вот как начальники-то живут! Ну надо же... Но это не зависть, а просто восхищение. «Скоро у всех такие квартиры будут», — говорит он как бы между прочим. «Да будя уж...» — смеется она. «Не веришь? — спрашивает он строго. — Ты что, не видишь, какое строительство идет?» — «Да вижу, вижу...» — отмахивается она. «Ты что, Нюра, разве не хочешь жить в такой квартире?» — «Не-а...» — мотает она головой. «Понимаю, — смеется он, — тебе в вонючем бараке больше нравится, да? Да я, Нюра, никогда тому не поверю. Ты же, Нюра, не дура...» — «Не-а, — говорит она легко, — я Нюра — не дура...» — «Ну ладно, давай чаю попьем...» И он зажигает керосинку.

И вот они пьют чай. Она прихлебывает из кружки и пыхтит, и побрякивает. Время от времени вскидывает глаза на него и тотчас отводит. «Пойдут всякие разговоры, — думает он, — начнут трепаться. А она совсем как домой пришла...» Он замечает с удивлением, что смущение не оставляет его. «Может, ты есть хочешь, а, Нюра?» — «Ага, — шепчет она, — уж так хоцца!..» — «А чего ты молчишь?» — «Да так...» — говорит она шепотом и краснеет. Он вскакивает, достает хлеб, из сырой тряпочки — кусок драгоценного овечьего сыра. Она жует торопливо, со вкусом, но морщится. «Ты что?..» — «Сыр больно соленый!» — «Зато ведь вкусный, а?» — «Не-а», — говорит она чистосердечно и жует, жует безостановочно.

Женщина, думает он, маленькая, крепенькая, голодная, убогая, но женщина, думает он, исподтишка поглядывая на нее. Старее, думает он, усмехаясь. Женщины разных возрастов с самой юности окружали его, они плакали и смеялись, но всегда были для него товарищами, не выделяясь, не преобладая, просто на равных служили общему делу, «участвуя в общей борьбе», как принято было это называть. Все, все, кроме мамы, кроме Лизы. Она была его частью, даже скорее он был ее частью. Она была не женщина — ангел, маленький вдохновенный ангел с влажными серыми глазами, и даже две скорбные складочки у рта казались ниспосланными свыше знаками божественного превосходства под пухлыми неискушенными гладкими щечками всех остальных. Он думал о ней в высокопарных тонах, время от времени произвольно копируя ее жесты, улыбку, взгляд... А остальные были товарищами.

«Вы импотенты или евнухи? — поражался брат Саша. — Какие девочки засыхают рядом с вами!» А он посмеивался в ответ, ибо что с него возьмешь: белогвардеец, танцор, выпивоха, жуир, романтик...

Все продолжалось неизменно, пока не появилась Ашхен. Тут он вздрогнул перед этой восемнадцатилетней армянкой, больше года проработавшей с ним в подпольной ячейке и существующей в его сознании как некий условный силуэт, сосредоточенно кивающий в знак согласия, имеющий имя да, пожалуй, ничего больше. Что-то сказал как обычно, а она вдруг в ответ растерянно улыбнулась... После этого всмотрелся в остальных боевых подруг — они все почему-то были к нему в профиль, и только она — в фас. С тех пор он стал замечать в ней все: каждый мягкий жест, опущенные уголки губ, карие громадные глаза. Услышал ее голос. Потом это все слилось с жестким характером, с неистовством в работе, с железом в голосе. Слилось и перемешалось...

Старею, думает он, разглядывая Ньюру. И тут она поднимает глаза, словно спрашивает: «Ну, а дальше чего будет?» — «Поздно уже, — неожиданно произносит он, — тебе пора идти, Ньюра». Она смотрит на него, покачивает головой. Глаз не прячет. «Не боишься, что искать тебя будут?» — «Не-а...» — с усмешечкой. «Учиться надо тебе», — говорит он невпопад и провожает ее до дверей. «Ничего девочка», — сказал бы Саша. «Да уж больно некрасива, — возразил бы он равнодушно, — о чем говорить?..» — «Ничего, сойдет, — сказал бы Саша, — огурчик. На один разок...»

...Утром прибыли в Свердловск, затем через несколько часов — в Нижний Тагил. Их встречали. Американцев — представители металлургического завода. Долго прощались на перроне. Ашхен и Анна Норт расцеловались. Августовский день оказался холодным. Ледяной ветер метался по перрону. У бабуси покраснел кончик носа. Пришлось доставать из чемоданов теплое. За ними приехал Крутов — заместитель Шалико, бронзоволицый, жилистый. В длиннополом брезентовом плаще, в сапогах. «Вай, коранам ес! — прошептала бабуся. — Это август?..» Папа смеялся. У мамы было напряженное лицо. Два одноконных шарабана ждали их. Сзади приторочили чемоданы и сумку и расселись. В одном — дамы, в другом — мужчины. «Ты, как мужчина, поедешь с нами», — сказал папа Ванванчу. У Ванванча дух захватило от предвкушения необыкновенного путешествия. Предстояло ехать четырнадцать километров по таежной дороге. Мама с бабушкой покатали первыми. Кучер крикнул, поцокал, дернул вожжи, и тронулись. Скоро тайга обступила с двух сторон. Папа и Крутов разговаривали о чем-то своем. Ванванч сидел у папы на коленях и не вслушивался.

«Поздно она от тебя ушла, Степаныч?» — спросил шепотком заместитель. — «Да не так чтобы очень, — сказал Шалико и посмотрел на Ванванча. Сын напряженно смотрел на дорогу. — Посидела, чайку попила и ушла... А что?» — «А что, а что, — сказал Крутов, — сам будто не знаешь». — «Не знаю», — сказал Шалико, еле сдерживаясь. «Твоя-то какая, — пробубнил Крутов, — прямо мадонна... Болтать ведь начнут...» — «Странный ты человек, — прошептал Шалико, — вот интересно, молодая работница зашла к своему парторгу, и что?.. Вот интересно... Ты, Федор, совсем уж...» — «Да чего я? Знаешь ведь, народ какой, ну? Больно мне надо...» — «Пап, — крикнул Ванванч, — какая тайга!..»

Солнце стояло высоко, светило ярко, но холодный ветер не прекращался. Наконец они увидели впереди раздвинувшуюся тайгу, и вместо нее возникли наполовину достроенные заводские корпуса и кирпичные трубы, и до горизонта — одноэтажные бараки на вырубленном пространстве. Вот они миновали полукруглое одноэтажное деревянное строение. «А это что?» — спросил Ванванч. «Это Дворец культуры, — благоговейно сказал Крутов, — артисты приезжают. Недавно Колодуб приезжала из Свердловска, пела тут. Все смотреть ходили...» «Колодуб, Колодуб...» — пропел про себя Ванванч.

Они свернули налево. Теперь барачное море красовалось слева, а справа, среди уцелевших деревьев — потянулись двухэтажные дома. «А вот брусковые дома, — сказал Крутов, — вот тут и жить будешь... А там вон дальше строятся дома-кафеи, те еще получше будут». — «А что такое кафеи?» — «А черт его знает, — засмеялся Крутов. — Хорошие, значит... и эти хорошие, а уж те совсем кафеи...» Ванванча немного задело известие, что ему предстоит жить не в самом лучшем из домов, но он сокрушался одно мгновение.

И вот — трехкомнатная квартира, где в самом дальнем конце — папин кабинет, а поближе — папина и мамина спальня, а у самой входной двери — комната бабуся и Ванванча, а рядом — кухня с большой кирпичной печью, покрытой чугунной плитой, и, наконец, возле кухни — уборная. «А ванная?» — спросил Ванванч. «Будем ходить в баню, — сказал папа, — здесь замечательная баня».

Пока раскладывались и устраивались с помощью Крутова, Ванванч гулял возле дома, оценивая новые места.

10

Однажды Ванванч заглянул в папину комнату. Папа сидел за письменным столом и белой тряпочкой протирал черный незнакомый предмет.

...Уже была ранняя осень. Но вдруг неожиданно спустилось на землю тепло. Листья летели, но солнце палило почти по-летнему. Что творилось!.. Бабуся ахала. Москва была далеко и казалась придуманной. Грусти по ней почему-то не было. Плавное счастливое движение жизни продолжалось.

Ванванч ходил в четвертый класс. Школа размещалась в двухэтажном здании из темных бревен. Их класс был на первом этаже. Посредине класса до самого потолка вздымалась кирпичная печь, парты размещались вокруг этой печи, а девятнадцатилетняя учительница, Нина Афанасьевна, то и дело поднималась из-за своего стола и обходила печь, чтобы никого не терять из виду. Когда она что-нибудь выводила на классной доске, многим приходилось высказывать из-за печки, чтобы правильно списать. Ванванча это нисколько не обременяло. Московская школа была слишком аккуратная, чтобы походить на жизнь. А в этой сказке было столько притягательного, что хотелось в ней купаться. Свобода, упавшая с небес! Колеблющаяся в пламени бересты и пропахшая ее дымом... Кстати, о бересте...

Они учились во второй смене. Темнело рано. Электричество то и дело гасло. Тогда дежурные снимали с жестяного бачка из-под воды крышку, клали ее на учительский стол, и Нина Афанасьевна поджигала кусочки припасенной бересты. Пылал маленький костерок, и широкоскулое лицо учительницы казалось медным, и она становилась раздражительной, и покрикивала, и ладошкой била по столу. Когда выключался свет, наступал праздник: маленькие юркие товарищи Ванванча стремительно разбежались по классу и плюхались на чужие места по тайному влечению, и Ванванч тоже не отставал и нырял во мрак, и прижимался плечом к горячему плечу Лели Шаминой. Она не отталкивала его, и они, затаив дыхание, слышали, как учительница кричала: «Ну, глядите. Сейчас доберусь и уж так надаю... Уж так по шеям надаю!.. Хулиганы!..» А они сидели, затаившись, и что-то горячее переливалось от одного плеча к другому...

Внезапно вспыхивал свет, все кидались по своим местам и склонялись над распахнутыми тетрадами. В последний момент расставаясь, Ванванч успевал заметить удивленно взлетевшие светлые Лелины бровки. Душа была не слишком вместительна: видение лишь откладывалось ненадолго, словно маленький кирпичик — в ту самую Великую стену, которой будет суждено лишь впоследствии нами править и нас отмечать. Нина Афанасьевна всматривалась в их красные лица, вслушивалась в хихиканье, ползущее из-за печи и, откидывая со лба завитки жиденьких волос, оскорбленно кричала: «Доскачетесь у мене!.. У, козлы!..»

Но иногда обстоятельства менялись, и уже все они, притихнув, наблюдали, как за окном в уральских непредсказуемых сумерках приближался к школе молодой немец по имени Отто. Он приближался медленно и неутомимо, широко, нагло ухмыляясь, прижимался к стеклу носом, шевелил расплюснутыми губами, и с них слетало: «Гутен абенд, фрау Нина!.. Их либе дих, фрау Нина! — и пальчиком манил: — Ком хер... ком, ком, битте...»

Этот молодой немецкий инженер приходил часто. Иногда дожидался окончания уроков, встречал учительницу и шел рядом с ней у всех на виду.

Ванванч рассказал дома об этом инженере. Папа долго смеялся. «Немец-перец», — приговаривал он и смеялся. Потом посерьезнел и спросил: «Ну, Кукушка, что тебе известно о немецких фашистах?» — «Фашисты — наши враги», — провозгласил Ванванч с интонациями Нины Афанасьевны, а затем спросил прерывающимся шепотом: «А он что, немецкий фашист?..» — «Ну что ты, — сказал папа с укоризной, — он наш, он красный немец, ты понял?» Стало легче дышать. Что-то даже симпатичное вспомнилось в долговязой фигуре инженера. Когда же за стеклом возникало расплющенное его лицо, Нина Афанасьевна покрывалась краской, чуть приоткрывала рот и так, не двигаясь, тяжело дыша, сидела за своим столом. Стояла тишина, и в этой тишине неведомые каркающие слова пробивались с улицы вперемежку со знакомыми: «Карашо, Нина... Зер гут, Нина... Кара-шо, кара-шо...»

В эти минуты Ванванч поглядывал на Лелю. Темно-русовая челочка, зеленые глаза, множество веселых веснушек, и все это вместе — Леля Шамина, смысл его сегодняшней жизни. На переменках они не общались. Она играла с девочками, он — с мальчиками и даже успевал забывать о ней. Но стоило погаснуть свету, и благословенный мрак воцарялся в классе, и неведомая сила снова срывала его из-за парты, толкала к вожделенной скамье, вдохновляла на подвиг. И вновь на какое-то мгновение сливались две руки и два плеча, и два дыхания... А слов не было. Да и что было говорить? От ее гладких волос пахло хлебом, и слышно было, как часто она дышит.

...Итак, Ванванч заглядывает в папину комнату, где стоит диванчик с казенной жестяной биркой, книжный шкаф канцелярского образца, письменный стол у окна, и над письменным столом — портрет Ленина в овальной рамке, а папа сидит за столом под портретом с чем-то маленьким и черным в руках...

...После уроков начиналось медленное разбредание по домам. Домой гнал голод, но расставаться не хотелось. Когда б не голод, можно было бы медленно и вечно шествовать в окружении ребят, среди бараков и гниющих пней былой тайги, всласть повырубленной. Да еще среди своих ребят оказывались пришлые. И все так славно собирались в стайку, и среди пришлых особенно был мил сердцу Ванванча долговязый, уже совсем взрослый тринадцатилетний Афанасий Дергачев, с такими пронзительными синими глазами, словно они вонзаются в тебя, и позабыть их уже невозможно, Афонька Дергач. Он работал на стройке, но обязательно к концу второй школьной смены вливался в их поток и слушал их освобожденное чириканье с наслаждением и подобием лукавой улыбки на малокровных губах. Впрочем, что уж в ней было лукавого? Так, одна растерянность, ей-Богу...

Почему он в свои тринадцать лет работал на стройке, Ванванча не очень заботило. Просто Афонька был старше на три года, он был из другого племени, он был из тех, таинственных и чумазных, что по-муравьиному суетились в громадных котлованах и взбегали по деревянным настилам на свежие кирпичные стены, толкая тачки с кирпичом и цементом, и брызги раствора растекались по их худым лицам и бумажным ватникам. Гудящие, постреливающие костры окружали их в ранней уральской темени, и длинные тени пронзали эту темь...

Теперь, когда детский романтический бред давно уже рассеялся и канул в прошлое, я вижу над кострами распластанные жестяные листы, на которых дымятся и шипят травяные лепешки, вижу, как землистые жадные губы ухватывают их, распалая наш собственный, благополучный школьный аппетит. И Афонька, оттрудившись, перехватив травяного хлеба, торопился к школе подкарауливать счастливые мгновенья. Чаще всего он предлагал Ванванчу поднести портфель и брал его в руки, словно ребенка в обнимку, и нес, поглаживая, и спрашивал нетерпеливо: «Ну, чего было-то?» Они принимались, перебивая друг друга, рассказывать ему, как баловались на переменках, как играли в салочки, как Настька Петьку поборола, как Карась на Егоре всю большую переменку ездил... «Ну, а учителька чего рассказывала?» — спрашивал он и впивался синими глазами. «Ну, чего, чего... про Африку...» — «А чего про Африку?..» — «Ну, как там негры живут...» — «Ну и чего?..» — «А у них снега не бывает. Они голые ходят...» — «Вот мать их... — поразился Афоня, — а едят чего?» — «Антилоп». — «А кто это??» И

тогда Ванванч рассказывал ему об антилопах, поглядывая в благодарные, пронзительные Афонькины глаза, и еще в тетрадке рисовал — и антилопу, и копые, и негра с перьями на голове...

Через несколько дней Афонька принес копые, которое сам соорудил по рисунку Ванванча, обточил его, прошкурил, приспособил к нему наконечник и стоял у школьных дверей, потряхивая в руке африканским оружием. А в это время Нина Афанасьевна как раз завершала африканскую тему, подбрасывая бересту в раскаленную крышку от бачка. Она успела сообщить, что капиталисты эксплуатируют негров, как вдруг смешалась, и даже в полутьме было видно, как ее щеки покрылись густым румянцем, и все по привычке повернули головы к окну: там, прижавшись к самому стеклу лицом, стоял Отто и подавал учительнице все те же таинственные сигналы. Ванванч, конечно, уже сидел рядом с Лелей. Треск бересты заглушал срывающийся голос учительницы. Всё выглядело значительным в отсветах красно-белого пламени... И вот, наконец, задрезжал колокольчик, и все кинулись вон из школы, туда, где Афонька Дергач подпрыгивал на месте, потрясая копьем, а в сторонке прогуливался насмешливый немецкий инженер.

Был ли он коммунистом? Наверное, думал Ванванч, а кем же еще, если приехал в тайгу помогать советским рабочим... Он был, наверное, одним из тех, что приехали в Москву совсем недавно как гости партийного съезда. Об этом съезде папа Ванванчу почти не рассказывал. Он был делегатом этого съезда и, вернувшись из Москвы, привез всем подарки: маме — кожаные перчатки, бабуся — шерстяную кофточку, Ванванчу — коричневые полуботинки и «Приключения Тома Сойера». Потом он извлек из чемодана небольшую коробку, и Ванванч выкрикнул радостно: «Печенье?!» Папа засмеялся, откинул картонную крышку и показал всем двенадцать тоненьких книжечек. На каждой было вытеснено: Ленин. «Это наше большевистское печенье, — сказал папа, — ты отгадал...» У папы было веселое лицо, веселое и усталое, а мама и бабуся очень суетились, чтобы его накормить и дать ему отдохнуть, и Ванванча отправили спать, и он пошел, но нехотя и медленно. Сначала пощупал тонкие книжечки, потом примерил мамины перчатки, постоял, посмотрел, как бабуся собирает со стола, и вдруг до него донёсся едва слышный папин шепот: «Представляешь, за Кирова было отдано больше голосов, чем... представляешь?..» — «Не может быть!..» — прошелестела мама. «Да, да, потом как-то некрасиво суетились, пересчитывали и объявили, что при подсчете допущена была ошибка. Вот так...» — «Но это же невероятно!» — прошептала мама. — «Да, — сказал папа, — что-то во всем этом отвратительное, а? Что-то нечистое, а?..» — «Ну и ну...» — сказала мама и тяжело вздохнула. Ванванч оглянулся. Папа жадно курил папиросу. Мама тоже курила и, прищурившись, смотрела в сторону, как бывало, когда ей что-то было не по душе.

...Да, и вот Ванванч заглянул в папину комнату. Подошел к самому столу и вдруг увидел, что в папиных руках — револьвер! «Интересно?» — спросил папа. Ванванч кивнул и кончик языка высунул, благоговей. «Он настоящий?» — спросил он шепотом. «Конечно, — сказал папа, — это дамский браунинг, видишь?.. Видишь, какой он маленький? Маленький, да удаленький, видишь? Шестизарядный, — папа и сам говорил по-мальчишьи, с придыханием, — ты видишь? Тут такая маленькая штучка — это предохранитель, видишь? Если его опустить, вот так, он будет стрелять...» — «А если не опустить?..» — «А вот, — сказал папа с восхищением и нажал спусковой крючок. Щелчка не последовало, — хорош?» — «А зачем он тебе? — спросил Ванванч с дрожью. — Войны-то ведь нет...» — «Ну, мало ли, — засмеялся папа снисходительно, — мы ведь окружены врагами... мало ли... — потом он взгляделся в лицо сына и сказал: — Смотри, не дотрагивайся, слышишь? Чтобы не случилось беды. Ты слышишь? Пожалуйста, я тебя очень прошу, очень прошу... никогда...» Он вложил браунинг в коричневую кобуру и спрятал в ящике стола. Потом Ванванч не раз видел, как папа демонстрировал браунинг кому-то из гостей, потом он даже сам, когда никого не было дома, проник в ящик стола и дотронулся до прохладной коричневой замши.

Кстати, предупреждая Ванванча, Шалико заглянул в карие глаза сына и вдруг удивился этому взгляду. В нем были напряженность, восхищение, даже восторг, но ничего, кроме этих детских эмоций. О чем он думал, этот десятилетний мальчик? Что его беспокоило? Придет ли

такой день, думал Шалико в этот момент, когда он сможет выложить сыну свои радости и свои сомнения? Пока же ведь все на уровне игрушек... Этот маленький мальчик, влюбленный в Робинзона Крузо и в кавалерийский гений Семена Буденного, вот он стоит, затаив дыхание, еще не утаивая своего простодушия. «Мой сын», — подумал Шалико.

Потом Ванванч незаметно выплыл из комнаты, и Шалико вспомнил недавний вечер, когда закачался на пороге вернувшийся из Тифлиса Вано Бероев, вошел, шумный, насмешливый, в обнимку с громоздким пакетом, из которого вывалились, позванивая, бутылки с кахетинским вином, головка маслянистой желтоватой гуды*, увядшая киндза, засохший лаваш, маринованный перец-цицака. Все забегали, засуетились. Запахло Тифлисом. Мария сунула лаваш в духовку, чтоб оживить его. Из комнаты доносился грохочущий голос. Ах, этот тридцатилетний холостяк с черным чубом, с плутовской улыбкой поднимающий стакан вина с удалством бывалого тамады и восклицаящий, восклицаящий с иронической многозначительностью, ну, просто нет спасения!.. Нет спасения, Вано, от твоих пронзительных прозрений, от твоего смеха, от всего этого, такого почти неуместного здесь, в уральской тайге, где мы сидим за столом с вытянутыми лицами, почти утратившие вкус к южному застолью, раздавленные заботами великого строительства, растерявшие навыки плавной, ленивой, празднотлюбивой речи, отрывисто лающие друг на друга на каком-то угрожающем воляпюке...

«Ничего, ничего, — кричит Вано, расплескивая вино, — я вас вылечу, научу! Ашхен, сбрось маску! Сбрось!.. Ты такая красивая! У тебя такой Кукушка!.. Он еще умеет улыбаться!.. — внезапно он перешел на грузинский и сказал Шалико: — Что делать, Шалико? Здесь, наверное, такой климат, что все время руки дрожат...» Мария сказала ему по-армянски: «Ты много пьешь, Вано, оттого и дрожат...» — «Товарищи, — поморщилась Ашхен, — давайте говорить на языке Ленина...» Ванванч радостно проголосил: «Ура!», и Мария погладила его по голове. «Ну, ладно, — согласился Вано, переходя на русский... — Сейчас расскажу анекдот... Один Мегрелидзе проснулся утром и спрашивает жену: кто я? Она говорит: ты что, с ума сошел? Ты же Мегрелидзе... А он спрашивает: а это что значит?.. Она говорит, плача: вайме, это же твое имя! Он говорит: ааа, а я думал, это профессия...»

Шалико хмыкнул. Ванванч задумался. Мария учтиво улыбалась. Ашхен сурово молчала. Потом спросила: «Он что, полный идиот был?..» — «Ашхен, улыбнись! Это же анекдот, — сказал Вано. — Так давайте выпьем за то... Ашхен, улыбнись... за то, чтобы быть людьми!..» «А анекдот все-таки дурацкий!..» — подумал Шалико.

Тифлиссские ароматы вздымались над столом, кружили головы и не сочетались с сумеречными заоконными пейзажами, со всей этой развороченной глиной, повырубленной тайгой, с серыми лицами ударников и очередями за хлебом... «Скоро отменим карточки, — подумал Шалико, — какой скачок!»

А за столом царил веселый шалопай, напичканный анекдотами, легкомысленный, вальяжный, шокирующий своим хохотком и Ашхен, и Федора Крутова. Шалико спросил как-то главного инженера строительства Тамаркина о своем тифлиссском протеже. «Феноменальный специалист, — вдохновенно отчеканил Тамаркин, — я доволен». — «Настоящий коммунист, еще бы», — засмеялся Шалико. «Ну, это ваша прерогатива, — сказал Тамаркин, сверкнув очками, — я же имею в виду его профессиональные навыки...»

Вано был переполнен кахетинским. Он крикнул через стол: «Ашхен, прогуляемся по Головинскому! А?..» Ванванч затопал ногами, предчувствуя очередную шутку. Шалико сказал сыну: «Кукушка, а не пора ли тебе спать?» — «Да, да, — подтвердила ледяным голосом Ашхен, — завтра рабочий день». — «Ну, хоть улыбнись!» — крикнул ей Вано. Ашхен осуждающе посмотрела на его раскрасневшееся лицо и вдруг улыбнулась. «Вах, — сказал Шалико, — вот это да!» Улыбка ее была мгновенна и так не соответствовала затейливым уральским обстоятельствам, но она смогла так величественно проявить красоту этой строгой молодой гражданки, выбравшей себе из многообразия женских склонностей самую безжалостную.

* Овечий сыр.

Женщины убрали со стола. Ванванч спал. Шалико заглянул на кухню. Там, уставившись неподвижным взглядом в черное окно, стоял Бероев и лениво жевал квашеную капусту. «Вано, — сказал Шалико, — ты слишком громко веселился... Наверное, тебе плохо?..»

— «Да, генацвале, — пробормотал Бероев, не оборачиваясь, — тебе как партийному вождю скажу... что-то не получается у меня на Урале: этот климат, эта глина под ногами, эти бараки, эти голодные глаза... Потом все спрашивают, когда социализм будет? Так спрашивают, будто хотят узнать, когда обеденный перерыв наступит!.. Я обещаю, обещаю... Что такое?!..»

— «Возвращайся в Тифлис, — сказал Шалико насмешливо, — там сейчас самый разгар овощей и фруктов, и мачари* много...» Вано сказал: «В Тифлис нельзя: Лаврентий сожрет. Ты разве не знаешь?.. Между прочим, меня пригласили в Москву строить метрополитен... все-таки Москва...» — «Ага, — сказал Шалико, — это, наверное, интересно... Москва!..»

«Ашхен, — сказал он жене, когда они остались вдвоем, — Вано едет в Москву, будет строить метрополитен». — «Как?! — изумилась она. — Он что, с ума сошел? Полгода здесь проработал...» — «Не знаю, Урал его угнетает, это все вокруг угнетает, — сказал Шалико, — он хороший парень, ты ведь знаешь, но это все вокруг...» — «Эээ, — сказала Ашхен, подражая Сильвии, — обыкновенный трус! Разве он большевик? А мне что, легко? Трус! Противно!..»

Шалико смотрел на свою красавицу, на ее полные, обиженно опущенные губы, которые она еще пыталась поджимать, словно боялась, что эта соблазнительная полнота позволит окружающим усомниться в ее суровом и непреклонном отношении к происходящему. Конечно, не сладко, думал он, глядя на нее, как это все видимое не соответствует тем картинкам, которые рисовались в юности, думал он, но ведь движение продолжается. «Скоро карточки хлебные будем отменять, представляешь?» — сказал он Ашхен без энтузиазма. Главное, думал он, не поддаваться соблазнительному отчаянию. Глубже вдумываться не хотелось. Он усмехнулся и дотронулся ладонью до ее щеки... Как она вздрогнула! Как приникла к нему, зажмурившись! Как мгновенно расплавилось ее неодолимое железо...

...И вот уже укатил Вано Бероев и написал из Москвы, как он трудится на строительстве метрополитена, а Шалико в один из вечеров отправился по хлебным магазинам, чтобы присмотреть, как идет подготовка к бескарточной торговле хлебом. Уже лежал снег. Он прихватил с собой Ванванча. В магазинах былолюдно и шумно, и ярко сияло электричество, но были приготовлены и свечи на случай его внезапного, привычного уже исчезновения. Грузчики разгружали машины и сани. Пахло горячим хлебом. Приход парторга повышал оживление. Все почему-то становилось крикливее, что-то такое восклицали задорное, лихое: «Ничего, ничего!.. Вон оно как!.. Теперь уж пошло, пошло!.. Давай, давай!..» Ванванчу вручили мягкую горячую ватрушку. Папа сказал: «Надеюсь, к открытию магазина вы управитесь...» Все громко подтвердили это. Прошли еще по нескольким магазинам. Везде было то же самое. Шалико сильно волновался. Сын твердо ступал рядом. «Ну, мы с тобой хорошо поработали, да?» — спросил отец. Ванванч кивнул, но мысли его были далеко. Он шел и видел, как Нерсик бежит по тифлисскому дворику, утирая рукой нос, как Жоржетта ест на кухне коричневое печеное яблоко маленькой серебрянной ложечкой и еще наполняет ложечку и протягивает ему. Вкусно. Покойно. За окнами — зимний Арбат. Жоржетта в туманной дымке. Ни грусти, ни сожаления. А вот Нинка Сочилина — чуть четче. Мокрый нос. Слюнявая горбушка в руке. Валенки на босу ногу и хриплый смех. Четче, конечно, но тоже что-то искусственное в ее слипшихся волосах, и смеющийся большой рот словно нарисован. «Да ну тебя!.. Да ну тебя!..»

Зато горячее плечико Лели Шаминой, вот оно, совсем под боком. Плечо. Рука. Локоть. И ни одного слова.

У Ашхен взлетели шамаханские брови, когда сын рассказал об этом. «Мы сидим в темноте, вот так, мамочка, а у нее такое плечико горячее!» То есть ее удивило не само по себе его признание, а это вот «горячее плечико». Она никак не могла успокоиться и рассказывала об этом Шалико, нервно посмеиваясь, но когда он рассмеялся, ей стало как-то полегче, словно

* Молодое вино (груз.).

ответственность за сына теперь уже поделена на двоих. «Бедный Кукушка, — сказала она, — тут не то что оперы нет, тут даже кино бывает раз в полгода». — «Скоро приедет Елена Колодуб, — сказал Шалико, — будет петь арии у нас во Дворце культуры». — «А, — сказала Ашхен отрешенно, — интересно...» Она вновь как-то внезапно и потерянно улыбнулась ему и представила себе Арбат, извозчиков, трамваи, фонари, легкий снежок и ярко освещенный Вахтанговский театр. Она вздохнула, но Шалико этого не услышал — он мельком заглянул в комнату тещи. Там спал, раскинувшись, его сын, наоткровенничавшись вволю о горячем плечике русой своей соученицы. «Этто что такое? — спросила как-то Ашхен. — Ты что, тоже думал так в детстве?» — «Мне было одиннадцать лет, — тихо засмеялся Шалико, — и я был влюблен в Ксению». Ашхен пожала плечами, сделала большие глаза, но на губах ее застыла улыбка: ей было приятно все это знать и слышать. «Через месяц я уже влюбился в Дарико, — сказал Шалико, — и даже попрыгал перед ней в лезгинке, как сейчас помню, лица ее почти не помню, а как прыгал и как сгорал — помню, и она поцеловала меня в лоб!.. — и он рассмеялся. — Представляешь?.. — потом он помрачнел и выдавил с трудом: — ...Она пришла, знаешь, ко мне в двадцать первом году, когда я уже был начальником милицейским в Кутаисе... Ну, она была такая здоровенная девица с большим носом, и я ее уже плохо помнил...» — «Зачем она пришла? — спросила Ашхен без особого интереса. — Поцеловать в лоб?» — «Какой там лоб... Мы арестовали ее отца... ну, как тогда было... чуждый элемент и все прочее, и она пришла просить, вспомнила, что я целовал ее и что я лезгинку перед ней плясал... ну, во имя этой детской любви, мол... я ей сказал: во-первых, гражданка, это вы меня поцеловали в лоб, а не я, во-вторых, ваш отец — ярый враг рабоче-крестьянской власти, и мы с ним чикаться не будем!..» — «А потом?» — спросила Ашхен. «Ну, что потом? Потом его подержали и выпустили... а потом они, по-моему, уехали в Турцию или в Грецию...»

— «А потом, — спросила Ашхен, усмехаясь, — кто еще целовал тебя в лобик?» — «Ну, кто же, кроме тебя, Ашо-джан?» — засмеялся Шалико.

С Ашхен что-то произошло. Она стала исподтишка, как бы между прочим, приставать к Ванванчу, выспрашивать у него, какая Леля, да что она, почему... Что-то материнское вдруг заговорило в ней, что-то такое проснулось, ранее неведомое. Конечно, никаких назиданий, никаких нравоучительных бесед, никаких хитроумных подходных маневров. «А Леля красивая девочка?» А сама вглядывается, вглядывается, что он ответит и как при этом себя поведет. «Да, мамочка».

— «А о чем вы с ней разговариваете?» — «Ни о чем...» — «Что же, все время молчите?» — «Да». — «И что же?» — «Ну, я же тебе рассказывал: сидим рядом...» Да, да, думала она, рассказывал и про рядом, и про горячее плечико, так хочется спросить: ну, что ты при этом испытываешь? Но это уже иные сферы...

Мария сказала ему как-то: «Балик-джан, ты позови Лелю к нам, поиграйте у нас... Помнишь, как Ниночка приходила и вы играли?»

Он, конечно, помнил. Однажды она пришла к нему со Славкой Зборовским. Это был маленький мальчик с лицом кролика, добрый и восторженный. Ванванч предложил играть в гражданскую войну. Они, конечно, согласились. Взяли в руки палки, закричали «ура!» и начали палками сдирать со стены обои. Потом запели:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш-марш вперед,
Рабочий народ!..

Ванванч знал все слова, Нинка подпевала некоторые, Славка же по малолетству выкрикивал «Ля-ля-ля!..» Ключья обоев трудились на полу. Бабуся маячила в дверях с побелевшим лицом. О возмездии никто не думал.

Он предложил Леле поиграть у него дома. Она зарделась и сказала: «Я у мамы спрошусь...» На следующий день сообщила, отводя глаза: «Мама говорит: нечего по начальникам ходить...» Она стояла перед ним в серой юбочке, штопаной вязаной кофточке и в серых подшитых валенках. Темно-русская челочка спадала на лоб, веснушки насмешливо толпились возле носа, она произносила чужой приговор как чужая, не придавая ему значения и не вникая в смысл, и улыбалась по-своему, показывая белые зубки. А его тоже это нисколько не задевало: видимо, потому, что была это бабушина затея, а у него опять оставались, как и прежде, внезапные отключения электричества, мышинное скольжение в наступившей темноте и горячее Лелино плечо, и шумное ее дыхание.

Наконец, явилась долгожданная Колодуб. Она приехала из самого Свердловска. Это был громадный город, столица Урала, затерявшаяся где-то в таежных пространствах, далекая, но вполне конкретная в отличие от Москвы — уже теперь слишком таинственной и слишком потусторонней, почти придуманной, куда не предвидится возврата, от которой в памяти только и осталось: бесформенный, звенящий трамвай, арбатский двор да коридор арбатской квартиры, где что-то оставлено, чего никогда уже не будет... И вот приехала Елена Колодуб, они всей семьей отправились во Дворец культуры на ее концерт. Афиши висели уже так долго, и так много было возвышенных и пылких разговоров о ее выступлении, что казалось — наступил долгожданный праздник. Ванванч даже слышал мельком на улице, как мужчина сказал женщине: «Ну, чего разоралась, будто Колодуб?!»

Все говорили только о ней. И вот она вышла на сцену, высокая, темноволосая, в светло-зеленом длинном платье и кланялась, куда ее возбужденно приветствовали. И толстая аккомпаниаторша уселась за пианино. Низким меццо-сопрано Колодуб запела арии из опер, широко раскрывая большой рот, сверкая белыми зубами и странно откидывая руку над головой, словно посылая последний привет.

Многие из этих арий Ванванчу были уже знакомы. Папа тихонечко про себя подпевал. Бабуся слушала, замерев. Мама же слегка улыбалась, вскинув густые брови, как улыбаются очень счастливые, но слегка недоумевающие люди, не понимая, откуда вдруг это счастье и счастье ли это...

После концерта они молча возвращались по темной осенней дороге, благо дом был недалеко. Вдруг папа сказал в пространство: «Какая замечательная!.. И вообще, подумать только, здесь, в глуши, среди тайги... Там, у них, их колодубы черта с два будут петь для рабочих!..» Он проговорил это с твердой убежденностью, однако слабая вопросительная интонация все-таки прозвучала в его голосе. «Ээ, — сказала мама, подражая тете Сильвии, — откуда ты знаешь?.. А Зяма и Амас рассказывали, что там много театров и кино...» — «Конечно, есть, — засмеялся папа, — но для кого?.. И потом, что там показывают? Я видел как-то в Москве американский фильм, их шедевр. Там красивая нищенка становится миллионершей...» — «Вай, — поразились бабуся, — какая счастливая!» Мама рассмеялась. «Мама, — сказал папа бабусе снисходительно, — но это же вранье...» Бабуся промолчала.

В школе каждый день играли в Колодуб, куда однажды не грянул гром.

Троцкисты застрелили Кирова. А надо сказать, что это был самый, пожалуй, почитаемый Ванванчем большевик. Так уж сложилось. И не высокое положение одного из вождей вызывало вибрирующее чувство в Ванванче, а его фотография на стене дома, где Костриков смеется, распространяя волны обаяния, и его маленькие сверкающие глаза переполнены любовью к нему, к Ванванчу, только к нему, а тут еще рассказы мамы, как она встречалась с Кировым на Кавказе в те далекие времена и как он был прекрасен, выступая перед ними, юными кавказскими большевиками, как правильно было все, что он говорил, и как они все, задыхаясь от счастья, дарили ему в ответ свои восторженные выкрики... И папа вспоминал, как Сергей Миронович пожал ему руку и сказал с искренним восхищением: «Такой молодой начальник городской милиции?! Ну замечательно! Ну, теперь держись, мировая буржуазия!.. Да и меньшевикам достанется, верно?» И папа восторженно крикнул ему: «Верно, товарищ Киров... Пусть только попробуют!..»

И вдруг этот выстрел! И его оказалось достаточно, чтобы лишить жизни такого человека... Ванванч вздрогнул и едва не закричал, когда прибежавшая с работы мама трясущимися губами сообщила все это и, плача, металась по квартире, и бабуся выкрикивала свое отчаянное: «Вай, коранам ес!.. Вай, коранам ес!..»

Полы скрипели. Стены тряслись. Мороз за окнами ударил пуще.

Ванванч шел в свою вторую смену, чувствуя давление в груди, и никак не мог поверить, что могло произойти такое, и вдруг увидел проходящих мимо рабочих, которые хохотали над чем-то смешным. Он стал всматриваться в лица прохожих, но ни на одном из них не обнаружил признаков скорби... «Что же это такое? — подумал он. — Как странно!»

В классе Нина Афанасьевна сообщила им о трагедии. Она словно зачитала газетные строки: «Троцкистские двурушники и немецкие шпионы застрелили нашего славного выдающегося Сергея Мироновича Кирова! Пусть падет на них гнев и презрение советского народа!» Сначала нависла тишина. Потом, как обычно, свет погас, и раздалось мышинное шуршание, и началось привычное переселение. Вспыхнула дежурная порция бересты. «У, козлы!» — закричала учительница.

Но на сей раз Ванванч к Леле не кинулся. Утрата была значительней любви. Он даже не подумал о ней. Он видел смеющегося своего погибшего кумира, и когда за стеклом расплылось расплющенное лицо немецкого инженера, Ванванчу показалось, что Отто хочет выстрелить, что целится он, конечно, в учительницу. Его расплющенное лицо, озаренное неверным пламенем бересты, было зловещим, и прищуренный глаз выискивал цель. «Ой, ой!..» — крикнул Ванванч, предупреждая об опасности, и все дружно захохотали, а Нина Афанасьевна хлопнула классным журналом по столу, и пылающая береста подпрыгнула и разлетелась в разные стороны. Потом дежурные ее погасили под причитания учительницы.

А он сидел, погруженный в скорбь. Свет то зажигался, то гаснул. И когда в очередной раз наступила тьма, случилось непредвиденное: словно ночная птица, слетевшая с ветки, кинулась к нему под бочок горячая Леля и прижалась, часто дыша. Так они сидели, замирая, пока Нина Афанасьевна поминала козлов, озаренная неверным пламенем настольного костерка. «Тебе Кирова жалко?» — спросил Ванванч шепотом. Но Леля не ответила, только еще теснее прижалась к нему. Выйдя из школы, он увидел маму. Она стояла вдалеке и смотрела куда-то в сторону. Зато Афонька Дергач оказался рядом. Он широко по обыкновению улыбался, раздвигая сухие губы. Но на этот раз его улыбка не понравилась Ванванчу. «Кирова застрелили», — сказал он своему другу. «Это кто ж его?!» — удивился Афоня. «Кто, кто, враги, конечно», — сказал Ванванч сурово. «Вот мать их! — воскликнул Афонька с негодованием. — За что они его?» — «За то, что был большевиком...» — «Вот мать их, — сказал Дергач, — а из чего стрельнули-то?» Ванванч вспомнил папин дамский браунинг и подумал, что оружие было, конечно, покрупнее. «Из браунинга, — сказал он. — Знаешь, есть маленькие браунинги, а его из большого. Такой, как у Ворошилова, понял?..»

Тут мама увидела его и замахала ему, и он побежал к ней.

Они протиснулись в двери Дворца культуры в потоке вливающих людей. Они уселись на еще свободные места где-то в середине зала. Деревянные потолки нависали над ними, и деревянные стены окружали их. Вскоре зал заполнился до отказа. «Мам, а что, опять Колодуб приехала? — спросил Ванванч. — Она будет петь?» — «Какая Колодуб? — спросила мама сурово. — Ты разве не знаешь, какое у нас горе?»

На ярко освещенную сцену вышли гуськом сосредоточенные люди. Среди них Ванванч узнал папу. Они уселись за длинный стол, покрытый красной скатертью. Ванванч увидел Крутова, главного инженера Тамаркина, начальника строительства Вагонозавода Балясина... Папа пошел к трибуне. Наступила тишина. Ванванч напрягся. Вдруг папа закричал... В наступившей тишине это было особенно внезапно. Ванванч не понял слов. Напряжение усиливалось. Мама сжала его ладонь. Папа кричал, размахивая руками. У него было страшное, искаженное, непривычное лицо совсем чужого человека... «Троцкистские двурушники!.. Враги!..

Убийцы!.. Окружение!.. Месть народа!..» — это дошло до сознания Ванванча. Игры в индейцев и даже в конную Буденного показались смешными. Кто-то рядом произнес: «Не, без очереди...» — «А почему брал?» — спросил другой. «По шашнадцати...» — «Ух ты!..» Ванванча эта отвлеченная болтовня оскорбила, и он завертел головой, но говорящих не различил. А папа кричал. И постепенно ответный гул из зала усиливался, люди тоже выкрикивали всякие грозные слова. Их лица были желты, напряжены, глаза широко распахнуты, и синие жилки раздувались на горле.

Затем вновь наступила тишина, и в этой тишине папа произнес отчетливо и жестко: «Никто не заставит нас свернуть с намеченного пути... Эта смерть спаяла нас всех... Мы не отступим... Приговор народа будет суров...» Зал закричал «ура». Мама смотрела куда-то вдаль.

Но вечной скорби не бывает. Тут по стечению обстоятельств нахлынула на таежную Вагонку новая возбуждающая волна. Правда, она показалась некоторым празднеством после всего, что случилось, и жители поселка кинулись вновь во Дворец культуры на американский фильм «Человек-невидимка». Он тоже был печален. Невыносимо. Но это было чужое горе, американское, потустороннее. Фильм шел много дней, и все ходили на него и ходили, и уже знали наизусть, но продолжали ходить. И когда в трагическом финале на белом вечернем снегу проступали вдруг прекрасные черты убитого Невидимки, Гриффина, и светловолосая Лора склонялась над ним в отчаянии, с ужасом в неправдоподобно огромных американских глазах, тогда весь зал рыдал в открытую, не таясь, и над тайгой нависал призрак печали и любви, а зло казалось навсегда разоблаченным. Ванванч был в смятении. Он ничего не мог: ни крикнуть, ни предупредить. Трусливый Кемп предавал своего старого чистого товарища, предавал позорно. Корысть его была столь отвратительна, что хотелось броситься во тьму, за экран — распять предателя и уничтожить.

Беспомощность не давала покоя... Впрочем, это превратилось в школьную игру, и никто не хотел быть Кемпом. Вскоре произошло приятное открытие. Кто-то обнаружил это первым, громко прокричал, и все ахнули: имя Невидимки каким-то странным образом совпало с именем американского изобретателя вагонных колес. Оба были Гриффины. Это звучало привычно: Цех колес Гриффина. И, конечно, звучало замечательно, потому что получалось, что именем общего любимца, этого несчастного, гонимого буржуйскими подонками человека поименован строящийся гигантский цех — гордость Вагонки.

Жизнь была прекрасна. Киров был уже в прошлом. Но Ванванч начал замечать, что папа и мама как-то особенно напряжены. Особенно мама. Она, правда, и раньше была не так уж внимательна к его заботам: думала о своем, а он это умел понимать и привык. Но тут появилось что-то новое. Она отвечала невпопад и смеялась невпопад, когда он пытался неуклюже вернуть ее на землю. С бабусей говорить об этом было напрасно. Она следила за тем, что и как он ест, хорошо ли выглядит, и, судя по ее интонациям, представляла его по-прежнему пятилетним... Бурная кровь армянской хранительницы очага кипела и пенилась в ней. «Ну, что ты дуешь и дуешь воду!» — ворчала она, когда он делал несколько торопливых глотков воды. «Очень пить захотелось», — пытался объяснить он. «Но ведь это не полезно, — наставляла она, — вот молоко. Пей, цават танем, пей, это полезно, пей...» И, конечно, узнавать у нее о том, что происходит с папой и мамой, было пустым делом. Однажды он спросил, но лицо ее было непроницаемо. Потом она улыбнулась и спросила: «А помнишь, как в Тифлисе ты испугался павлина?..» Он не вспомнил. Бабуся что-то лукавила.

Детали, детали... Теперь все это разбилось на куски, смутные картинки, а ведь была целая жизнь, и она вмещала в себя множество всего, что тогда казалось исключительно важным и что теперь вспоминается как милый заурядный вздор.

Вот, например, приехал на Вагонку внезапно про шумевший московский писатель, молодой человек Александр Авдеенко. Он прославился своим первым романом «Я люблю». Он был из рабочих, и это придавало ему вес. Его устроили в папином кабинете. Он спал на диване. Работал за папиным столом. Писатель!.. Он всегда был в неизменной суконной гимнастерке,

франтоватых галифе и в белых валенках, которые здесь назывались пимами. Ванванч не знал его романа, а имя услышал впервые, но по тому, как бабуся несколько торжественно кормила его на кухне, слово «писатель» приобретало особый смысл: это был уже почти Сетон-Томпсон, почти Тургенев, почти Даниэль Дефо. И когда на круглом лице писателя изредка возникала располагающая улыбка, душа Ванванча воспламенялась.

Сквозь полуотворенную дверь Ванванч видел иногда, как гость восседал за столом и карандаш в его руке многозначительно покачивался. В один из дней, когда все, словно сговорившись, отсутствовали, Ванванч проник в папину комнату, подобрался к столу, увидел чистый лист бумаги и прочитал единственную строку, черневшую на ней: «Мне девятнадцать лет...» И тут он подумал, что тоже будет писать, сегодня же, сразу после школы, и его произведение будет начинаться со строки: «Мне одиннадцать лет...» Наслаждение было велико, и он позволил себе снова заглянуть в ящик письменного стола и прикоснуться пугливой ладонью к теплой замшевой кобуре.

Детали, детали... разрозненные, почти неуловимые, мгновенно вспыхивающие в тумане времен и гаснущие, и не тревожащие до очередной вспышки... И мама вдруг говорит Ванванчу, что его пригласили в гости к начальнику строительства Балясину, то есть не к нему, а к его сыну, очень хорошему мальчику, и они пригласили его давно, но все как-то было некогда, а вот теперь, в выходной день, надо поехать, они ждут, и ты там сможешь поиграть, он очень хороший мальчик, и у него, кажется, есть брат... В общем, будет, наверное, очень интересно.

За Ванванчем пришли сани, и кучер присвистнул, и рыжая лошадь побежала по хрустящему снегу. Это было замечательно, особенно когда, миновав кварталы серых печальных бараков, въехали в Пихтовку на окраине поселка, где среди не вырубленных еще деревьев белело несколько свежих двухэтажных особнячков, в одном из которых проживал начальник строительства.

И вот долгожданный гость вошел в широкую дубовую дверь, женщина в белом переднике улыбнулась ему на пороге, а два мальчика его возраста протянули ему свои ладони... Он понял, что ехал именно к ним, женщина в белом переднике — их мама. Все было добросердечно, сказочно. Вдруг появилась еще одна женщина с короткой темной прической и строгим, несмотря на улыбку, лицом. Она сказала: «Катенька, отправляйтесь на кухню, дорогая, а то мы ничего не успеем». Женщина в белом переднике исчезла. Ванванч понял, что вновь пришедшая и есть настоящая мама. Ее звали Маргарита Генриховна. Знакомство произошло стремительно, просто, без излишних замысловатостей.

Дом поразил его своими размерами и убранством. Он никогда не видел таких больших прихожих и комнат, люстры переливались над овальным столом, и странное растение тянулось из деревянной кадучки, касаясь потолка. Почему-то на мгновение вспомнилось мамино лицо, когда она снаряжала его в гости: какое-то легкое недоверие озаряло его, и в интонациях, которые проскальзывали в ее речи, таилось едва угадываемое неодобрение или насмешка.

И вот уже мальчики сидели в детской за столом, и Ванванча учили играть в «морской бой». Сына Балясина звали Антоном, но в обиходе это звучало как Антик. Антик был на год старше Ванванча, это позволяло ему быть ироничным и снисходительным. Его двоюродного брата звали Федей, а дома это звучало как Фунтик. Он был на год младше Ванванча, добросердечен и большой весельчак. Проигрывая, он недолго страдал, а после посмеивался над собой: «Эх, какой же я дурачок! Надо было вот так ходить, а? А я-то...»

За обедом все сидели за овальным столом, и расторопная, улыбчивая Катенька разливала по тарелкам борщ, оглядывала стол по-хозяйски, пока Маргарита Генриховна не роняла: «Катенька, можете идти, дорогая... пока как будто ничего не нужно...» Все ели, слегка позвякивая ложками, как вдруг полный и молчаливый Балясин обратился к Ванванчу: «Ну, скажи, пожалуйста, как у тебя дела?» — «Хорошо», — откликнулся Ванванч. «А кем же ты намереваешься стать в будущем?» — спросил Балясин. Интонация была дружеская, заинтересованная, и Ванванч неожиданно ляпнул: «Писателем...» — «О!» — воскликнула

Маргарита Генриховна. Антик хмыкнул. А Фунтик заливисто хохотнул и хлопнул Ванванча по плечу. «Ну, я полагаю, ты уже что-то пишешь?» — спросил Балясин. Лицо его было непроницаемо. «Да, — сказал Ванванч как бы нехотя, — роман...» — «И о чем же?» — спросил Балясин, и полные его щеки покрылись румянцем. «Так, вообще, — сказал Ванванч, зажмурившись, — о разном... — и почувствовал, как и его щеки обдало жаром, но, еще не потеряв дара речи, добавил: — Первая строчка такая: «Мне одиннадцать лет».

Второе ели молча. Ванванч ни на кого не смотрел. На десерт Катенька принесла компот и пирожные. Такие пирожные Ванванч пробовал в Тифлисе, когда ему было пять лет. «Ну вот, Антик, — сказал Балясин, вытерев рот салфеткой, — а ты роман не пишешь... Что ж ты так?..» Все тихо засмеялись. «Вы же большевики, а живете, как буржуи...» — хотел сказать Ванванч, ощущая досаду на самого себя, но не сказал.

Вечером еще немного поиграли в детской. Во время игры Антик сказал Ванванчу: «Все-таки ты, оказывается, большой врун... Врал, врал, как будто все кругом дураки...» Это прозвучало оскорблением, но защищаться было бесполезно. Фунтик ринулся его защищать: «Ты ведь не наврал, да?.. Ты ведь правду сказал?..» Ванванча доконала его доброта. Отчаяние подступило к горлу, и он выдал с трудом: «Да я же не врал, я просто пошутил». Тут вошла Маргарита Генриховна, и Антик сказал: «Мама, насчет писательства он, оказывается, просто пошутил...» — «О, — сказала Маргарита Генриховна, сияя своей холодной улыбкой, — я в этом не сомневалась».

Собираясь укладываться спать, они болтали о разном. Ванванч вдруг вспомнил фотографию смеющегося Кирова. Киров был в простой гимнастерке. Между жизнью и смертью пролегла короткая дорога. «А враги окружают нас, — сказал Ванванч многозначительно, — и их слишком много». Фунтик бросился к окну. «Не вижу ни одного!» — закричал он. Антик сказал, кривя губы: «Опять ты понес какую-то чушь!..» — «А вот Кирова уже убили», — заявил Ванванч. Ему хотелось услышать от них подтверждение своим словам, и тогда стало бы понятнее, почему так осунулось и потемнело мамино лицо, почему в папином голосе появились столь непривычные нервные интонации. Да, почему? Почему? Но Фунтик насвистывал что-то пустое, а Антик старательно рисовал лебедя. Постели были уже приготовлены. У Ванванча на душе было беспокойно. Вдруг он заметил, что у него на подушке и у мальчиков на их подушках лежит аккуратно сложенное нечто из полосатой материи. «А это что?» — простодушно спросил он. «Как что? — удивился Антик. — Это пижама. Ты разве не знаешь?» — «Знаю», — ответил Ванванч, не понимая, что это такое. Он сидел на краю своей постели, не раздеваясь, и исподтишка поглядывал, как они поступят с этим своим полосатым. «Пора ложиться», — улыбнулся Фунтик. «Я не люблю спешить», — потерянно сказал Ванванч. «Какой ты особенный», — сказал Антик, не скрывая усмешки. Ванванч ждал. Наконец мальчишки начали раздеваться, и все, к счастью, разом встало на свои места. Ванванч увидел краем глаза, как Фунтик, скинув с себя все, натянул длинные полосатые панталоны, а затем — такую же полосатую курточку и, ахнув, юркнул под одеяло.

Несколько дней после этого Ванванч хранил напряженное молчание. Когда его спрашивали, как было в гостях, сдержанно отвечал, что понравилось. Подогретый нелепым случайным бахвальством, уселся как-то за стол, вырвал из тетради чистый лист и легко записал первую строчку: «Мне одиннадцать лет...» После же ничего не мог придумать и оставил эту затею. Однажды, все-таки разговорившись, выдохнул маме: «Мамочка, почему у них такой громадный дом?.. У них такие кресла, как у Кемпа!.. И горничная!.. И они спят в полосатых пижамах!..» Мама поморщилась и сказала как-то не очень вдохновенно: «Они хорошие люди... ну, это у Маргариты Генриховны такой вкус... ну, немного такой, понимаешь?..» А папа вечером, выслушав откровения Ванванча, погладил его по голове: «Да, у Маргариты есть буржуйские причуды... Ничего, ничего, мы это постепенно вытравим. Верно, Кукушка?» — «Конечно», — отчеканил Ванванч и, выходя из комнаты, услышал, как папа сказал маме, посмеиваясь: «Как тебе нравится этот маленький большевик?..»

Весна подступала медленно, лениво, испуганно, но вот, наконец, утвердилась, и обнажилась взрыхленная глина и зачавкала под ногами. Бабуся страдала от вечного холода и постоянно видела обстоятельные сны о Тифлисе и потому так же обстоятельно, с подробностями их пересказывала. Ее круглые добрые глаза покрывались влажной пленкой, губы едва заметно кривились. Ванванч видел все это и жалел бабуся, однако все как-то на ходу, не всерьез, словно ему не хватало времени на внимание к окружающим, а личная жизнь поглощала силы. Она была прекрасна и захватывающа, только все чаще и чаще долетающие до него отдельные фразы, какие-то недоумения, нервозность и ускользящие растерянные взгляды делали эту прекрасную жизнь немножечко напряженной, немножечко непрочной... Ванванч не любил неясности. Все должно было быть понятным: если уж пожар — то пожарная машина и звон колокола, если уж поющая птица — то птица, а не Елена Колодуб. Белые и красные, рабочие и буржуи, да и нет...

А весна все-таки брала свое. Уже высунулась первая любопытная травка. Почки напряглись, лопнули, распахнулись. Лелино плечо оставалось таким же горячим. Четвертый класс был на исходе, даже не верилось! На день рождения папа и мама подарили ему толстенную книгу о животных. Автором был неизвестный Брэм. На рисунках звери выглядели живыми. Появление каждого нового изображения сопровождалось маршеобразной музыкой — то ли он сам напевал, то ли она проливалась с небес... Хищники, пресмыкающиеся, птицы... Его любовью стала антилопа Бейза. История ее жизни выглядела возвышенной и трагичной. Ее длинные изысканные рога не всегда спасали от смерти, но их владелица была прекрасна.

Афонька Дергач, которого он познакомил с нею, был в восхищении. Он долго разглядывал антилопу, потом сказал: «На нашу козу похожа... У нас была такая...» — «Да это же антилопа, — обиделся Ванванч, — а рога какие!.. А глаза!..» У Бейзы были громадные глаза, переполненные тоской, и можно было вглядываться в них вечно... «И у нашей козы рога такие же были, — упрямо сказал Афонька, — и глаза такие же... Она у нас уметливая была, ровно кошка, все о ногу терлась, а глядела — ну, ровно жалостливая девка...» — «Какая еще уметливая?» — недовольно переспросил Ванванч. «Ну, добрая, значит...» — засмеялся Афонька.

Они полистали книгу, сидя на лавочке возле дома, и Ванванч предложил приятелю зайти к нему. «Да ты что! — засмеялся Афонька. — Куда это? Нет, не пойду». — «Почему?» — удивился Ванванч. «По кочану, — сказал Афонька, — не пойду и все тут...» — «Да у меня никого нет дома, — взмолился Ванванч, — одна бабуся...» — «Во, во, — засмеялся Афонька, — бабка-то твоя меня с лестницы и спихнет... Давай лучше в тайгу сходим, поглядим, чего там да как...»

Тайга располагалась почти за домом, за строящимися домами «кафеи». Ванванч забежал домой, оставил книгу, и они отправились. Ему нравился Афонька все больше и больше, ему нравилось, как он расширяет синие глаза и восклицает, пораженный: «Да ну?!» Они уже вошли в царство первых пихт и сосен, как к ним присоединились мальчишки из его же класса. Они сразу же наломали веток и соорудили себе сабли. Началось... Афонька в серой рубашке, спущенной до самых колен, сжав белые сухие губы, отбивался от стаи пыхтящих и ликующих дикарей или белогвардейцев, или буденновцев.. И тут Ванванч, изнывая от азарта, отшвырнул свою палку и крикнул: «Сейчас такое покажу, что вы все ахнете!..» И кинулся к дому. В квартире было тихо. Бабуся в кухне рубила капусту. Ванванч проскользнул в папину комнату, вздохнул и погрузил руку в заветный ящик. Жмурясь и холодея, извлек из кобуры браунинг и покатился по ступенькам. Не было ни сомнений, ни страха, а только вдохновение и страсть. И он бежал и представлял, как они сейчас побросают свои палки и ахнут перед этим маленьким, блестящим, холодным чудищем. Когда они увидели, разглядели, то действительно выпустили из рук неуклюжее свое снаряжение... Ах, ах, ах!.. Настоящий?.. Ах, ах!.. Ну, и чего он?.. Ух ты!.. А это чего?.. Вот это да!..

Он терпеливо все им объяснял, что нельзя спускать предохранитель, а если так, не спуская, то вот... щелк-щелк... Ух, ты!.. И каждый с благоговением прикоснулся и подержал в ладошке,

и целился, ликуя, в ствол сосны или в небо, щелк... Ух, ты!.. По врагам революции! Щелк-щелк... Браунинг исправно старался. Наконец, они насладились им сполна, и он вновь очутился в руке Ванванча. Он прицелился в небо и щелкнул. Он прицелился в ствол сосны и щелкнул. Афонька под сосной собирал какие-то ранние ягоды и посматривал на Ванванча хитрым синим глазом. Вдруг он выпрямился во весь рост, прислонился спиной к сосне, рванул ворот рубахи и крикнул: «На, бей революцию!..» Ванванч привычно и легко нажал курок. Раздался выстрел. Все подбежали, еще ничего не понимая.

Афонька, разинув рот, медленно двигался на Ванванча. Он шел и стонал, шел и стонал. Он делал это очень натурально, так, что Ванванч тоненько крикнул ему: «Ну, хватит, Афонька, перестань!..» А сам все холодел и холодел.

А Афонька шел к нему и стонал, и глаза его были закрыты. Ванванч почувствовал, что грудь сдавило, и в глазах потемнело, и ноги сильно тряслись. И тут все увидели, как из-под серой Афонькиной рубашки по серым же штанам расползается темное пятно. Все сильнее и сильнее... сильнее...

Ванванч закричал что-то, запричитал и отшвырнул браунинг, и побежал, едва переставляя ноги, скорей-скорей, из этого зловещего сна, из этого зловещего сна...

Бабуся ничего не могла понять. Она пыталась узнать, в чем дело, но он, почти оттолкнув ее, ворвался в комнату и рухнул на постель, упрятав голову под подушку. И провалился...

...Он открыл глаза и все вспомнил. У кровати сидел папа. Он сказал тихо, едва слышно: «Я же тебя просил...»

11

Раньше этого не было. А теперь Ванванчу хотелось приставать к взрослым и тормозить их, и спрашивать: «Что?.. Кто?.. Почему?.. За что?» Но он еще не умел формулировать свою тревогу, и отдельные невнятные фразы, долетавшие до него, произнесенные то во весь голос, а чаще увядающим шепотком, не складывались в завершённый рассказ и только сеяли непонятное смятение.

Так и остались в нем на многие десятилетия повернутые к нему улыбочивые любимые лица и всяческие поощрительные интонации. Но, оборотившись от него, за его спиной, они глядели друг на друга, бывало, и с отчаянием и роняли отдельные слова, как бы не связанные между собой и потому не имеющие для Ванванча смысла. Это был их птичий язык, звучащий вне Ванванча, если бы все-таки что-то не настораживало: то ли их лица, то ли какой-то непонятный шепот, шепот, шепот, и что-то такое опасное, зловещее, трудно произносимое... Последнее время он все чаще слышал имена Балясина и Тамаркина. Видимо, родители спорили о них и не соглашались друг с другом...

Ему очень хотелось выговориться самому, соответствовать им, но нужных слов не хватало. Он сказал как-то отцу: «Папочка, как я ненавижу врагов!» — «Ну, конечно, — сказал папа, но как бы не ему, а кому-то растворенному в воздухе, — конечно... Это же так просто: чем лучше мы живем, чем лучше работаем, тем они больше злятся...» — «А что же чекисты?..» — спросил Ванванч. Папа засмеялся, погладил его по голове и сказал: «Чекисты, Кукушка, делают свое дело. Ты не беспокойся. Им трудно, но они делают...»

После страшного весеннего выстрела прошло лето. На лето мама увезла Ванванча в Тифлис, где он медленно приходил в себя. Синие, переполненные болью глаза Афоньки неотступно были перед ним и не отпускали. У мамы были всякие партийные дела в Тифлисе, а Ванванч отправился с тетей Сильвой и Люлю в Цагвери, в сосновые горы, в прохладу, в деревенскую тишину.

«Как ты вырос!» — воскликнула Люлю и обняла его, и крепко прижала к себе, и его поразила перемена, происшедшая в ней. Она стала с ним вровень, он впервые догнал ее в росте, но она выглядела совсем взрослой, а тонкая ниточка, что связывала их все годы, совсем

истончилась... У нее были длинные, стройные ноги, не те детские костлявые спички, да и никакого лечебного корсета уже не было. У нее были сильные руки взрослой женщины, и два упругих горячих шара ткнулись ему в грудь. Но не было и шеи почти, и крупная красивая Люлюшкина голова покоилась прямо на широких плечах. «Видишь, — сказала она, демонстрируя прямую спину, — никакого горба!» У нее был все тот же большой рот и белозубая улыбка, и внимательные глаза густого сливового цвета. Сестра!..

Ванванч хорошо понимал, что она и тетя все знают о случившемся, но никто не затевал разговоров на эту тему. Их взгляды ускользали, стоило ему уставиться, будто с мольбой о прощении или с надеждой на неизменное снисхождение к нему белого света. Однако душа была больна, а Урал представлялся издалека вместилищем горя, особенно отсюда, из Цагвери, из этих разноцветных гор. Он все время ждал, что тетя Сильвия скажет ему что-нибудь резкое или Люлюшка нашепчет утешения, как бывало когда-то... Но они молчали.

Он долго не знал, жив ли Афонька, но, просыпаясь и засыпая, видел только одно, как Дергач шел на него, как тускнели его синие глаза, как он стонал, как черная кровь расплзалась по штанам, как самый смелый из ребят задрал ему рубашку и все увидели на груди Афоньки маленькую аккуратную красную дырочку...

Этот кошмар никогда бы и не кончился, как вдруг в одно благословенное утро тетя Сильвия сказала ему, что теперь, наконец, все в порядке. «Этот мальчик здоров и выписался из больницы! Хорошо, что все так закончилось!.. Бедный Шалико...» И он только теперь узнал, что его папа целый месяц все ночи дежурил в больнице у постели раненого Афоньки Дергача. «Пуля, оказывается, прошла навывлет, — сказала тетя Сильвия, — и, к счастью, ничего важного не задела...» И тут она увидела, что щеки Ванванча покрылись счастливым румянцем. Из Цагвери в конце августа они воротились в Тифлис, и Урал вновь представлялся вождеденным. Однако в Тифлисе их встретило печальное известие. Не стало бабушки Лизы. Мамина телеграмма не долетела до Цагвери, рухнув от горя где-то в горах.

Похороны уже завершились. Большая счастливая семья находилась в подавленном состоянии. В квартире на Паскевича было странно, неуютно и холодновато, как в музее. Все сходились по старой традиции, и вялые потерянные движения, и горькие влажные взгляды — все было непривычным, трагическим. «Дэда, дэда! — шептали они про себя. — Дэдиго, мамочка!..» Тень ее витала меж ними. Она всматривалась острыми серыми глазами в их лица, и беззвучный стон наполнял комнаты.

И все-таки уход бабушки Лизы не согнул оставшихся, не заледенил их сердец. Они оставались прежними, прежними, и, не скрывая глаз, наполненных слезами, они улыбались друг другу и особенно Ванванчу, и горячие их ладони прикасались к его голове... «Кукушка, как ты хорошо выглядишь!.. Ашхен, генацвале, как хорошо, что ты с нами!..» Они сидели за большим овальным столом, но не было командира. Степан со стены обозревал их собрание. Он был спокоен и кроток. Какое-то подобие улыбки застыло на его губах. «Теперь они, слава Богу, встретились, — сказал Галактион. — Оля, Оля, это неминуемо...»

Как много поцелуев, как много ласки досталось Ванванчу. Его холодное уральское сердце не сразу откликнулось на эти почти позабытые ухищрения любви. Но, видимо, кровь взяла свое. Она погорячела, жилка на шее вздулась, и снова, как когда-то, увидев на улице целующихся тифлисцев, он не вскидывал удивленных бровей, а ощущал себя среди своих.

И Нерсик, повзрослевший, но все тот же, бросился к нему, обхватил, зачмокал слюнявым ртом: «Ва! Здравствуй! Здравствуй!..» Он сидел на углу Лермонтовской и Паскевича и чистил ботинки всем желающим, а их было множество. И старенькие, единственные туфельки на чужих ногах начинали сиять, и их обладатель чувствовал себя человеком. «Зачем уехал?! — спрашивал он. — Тифлис плохо?!» — и рукавом утирал нос. Ванванч решил было рассказать ему об Афоньке, но очередной вальяжный клиент по-хозяйски подсунул свой штаблет, и щетки заработали, а Ванванч отправился вдоль по Паскевича.

Там, на Урале, все было насыщено тревогой и заполонено врагами. Здесь же, в Сололаках, медленно текли медовые будни и все обнимали друг друга... Но однажды дядя Миша спросил

Ванванча как-то по-взрослому, на равных: «Ну, как там папа на вашем Урале?» И грустью повеяло от его слов. Ванванч не смог разделить прозвучавшей грусти и ответил бодро и снисходительно: «Борется с врагами...» Ничего не изменилось в лице дяди Миши, и бодрость Ванванча не коснулась его. «А здесь есть враги?» — спросил Ванванч по-деловому. «О, конечно, конечно», — ответил дядя Миша без энтузиазма и тотчас удалился.

Рояль стоял, покрытый пылью. Рядом с фотографией Степана повесили новую — бабушки Лизы. Пока Вася прикреплял ее к стене, все смотрели в разные стороны. «Генацвале... генацвале...» — витал меж ними тихий бабушкин шепоток.

За какие-то два года многое, оказывается, переменялось. Трехкомнатная квартира на Грибоедовской улице, где совсем недавно маленький Лаврентий в пенсне пугал собравшихся своими охранниками и выкрикивал Ашхен хмельные комплименты, эта квартира перешла во владение тети Сильвии, и они с Люлюшкой покинули Лермонтовскую. Однако как-то неисповедимо для Ванванча исчез Вартан Мунтиков, а вместо него возник тридцатилетний высокий, улыбчивый Николай Иванович Попов, преуспевающий бухгалтер-экономист из какого-то там треста. Он обожал тетю Сильвию, которая была старше его на целых одиннадцать лет, говорил с ней с придыханием, широко распахивая большие карие глаза, и поддакивал, и во всем с нею соглашался, и с радостью, смачно целовал ее белую пухлую руку под одобрительный смех Люлюшки.

Сначала Ванванч, верный своей давней приязни к мягкому привычному Вартану, никак не мог приспособиться к новому лицу, но обаяние молодого мужчины было столь велико и внезапно, что нельзя было им пренебречь. «А он кто?» — спросил Ванванч у Люлюшки шепотом. «Он муж, мамин муж, новый мамин муж, — рассмеялась Люлюшка, — мамин раб и слуга... Посмотри на него!..» — «А Вартан?» — «Ээээ, Вартан, — сказала Люлюшка, кривясь, — Вартан тоже был добрый и послушный, но глупый, понимаешь? — И она продолжила шепотом: — Он привез сюда однажды своего приятеля, бедняжка, на свою голову, представляешь? И мама в него влюбилась, и он влюбился в маму...» — «А потом??!» — «А потом Вартан заплакал, собрал свои вещи, и Рафик увез его куда-то на своей машине...» Ванванч вздохнул. Еще одна страница учебника жизни была перелистана...

А впереди вновь замаячил Урал. Мама была сосредоточенна и мрачна. «Ашхен, — сказала Сильвия, — ну, хорошо, — враги, шпионы, троцкисты — но ведь что-то в этом неправдоподобное, а?..» — «Что ты, Сильвия, что ты, — прошелестела Ашхен, — это наша реальная жизнь. Мы должны все это выдержать — иначе нас раздавят...» При этом она, как обычно, смотрела в окно на белое здание консерватории и поморщилась, когда из распахнутого консерваторского окна донеслись громоподобные гаммы меццо-сопрано, а потом, когда этот же голос проревел на всю узкую улицу: «У любви как у пташки крылья...» — стало просто невыносимо.

«Шпионы-шампиньоны...» — засмеялся Николай Иванович и долил сестрам вина в бокалы. «Николай! — прикрикнула Сильвия капризно. — Ты что, не видишь, что творится кругом?!» — «А что такое?.. Что, Сильва?..» — «Ты что, ничего не понимаешь?» — крикнула она и кивнула в сторону Ашхен. — «Ну хорошо, успокойся, дорогая, — выдавил он испуганно, — ну, сидим и веселимся...»

Потом он отправился за женой на кухню, и она сказала ему зловещим шепотом: «Ты разве не понимаешь, что она сумасшедшая? А? Ты забудь, что ты Бозарджанц... Навсегда забудь... Кончилось... Все. Этого уже не будет. Никогда... Помалкивай и получай свою зарплату... Все. Ты понял?» — И вдруг рассмеялась, да так громко, так беспечно, словно почувствовала за спиной тень Ашхен. «Понял», — сказал он облегченно.

Он не любил и боялся многозначительных речей. И тут вошла Ашхен, оглядела их и спросила: «Ну-с, что вы обсуждаете?» Сильвия щелкнула мужа по носу. «Учу этого легкомысленного юнца, чтобы не забывал о вражеском окружении». Николай Иванович хохотнул. «Ах, ах, ах», — попыталась пошутить Ашхен. Но шутить она не умела. Она смотрела в окно и не видела глаз Сильвии, наполненных страхом, и она сказала себе самой с упрямством

школьницы: «Ошибки, конечно, бывают... Люди иногда ошибаются, но партия — никогда...» — «Ура!» — крикнул Николай Иванович. «Николай, — строго проговорила Сильвия, — какой ты все-таки шалопаи!..»

Они вернулись к столу, чтобы завершить прощальную трапезу. Николай Иванович долил вина в бокалы. Чокнулись за счастливый отъезд. Сильвия пригубила и поцеловала сестру в щеку. Ашхен думала о последнем письме Шалико и вся была на Урале, ибо выяснилось, то есть возникло подозрение, что Балясин и Тмаркин, кажется, ведут двойную игру!.. «Кто они такие?» — спросила Сильвия, покусывая губы. «Ах, Сильвия, — сказала Ашхен, — лучше не говорить об этом... Это, конечно, недоразумение. Они хорошие специалисты, а уж большевики... и все было хорошо, но у Балясина некоторая склонность к комфорту... такая буржуазная склонность, и он стал главным, и, видимо, немного закружилась голова... я не знаю, как тебе объяснить... ну, не удержался... Я всегда говорила, что нельзя совместить преданность пролетариату и буржуазность, пролетарское и буржуазное... А Тмаркин — блестящий специалист, но интеллигентик, понимаешь? Мягкий, дряблый... не пролетариат... с ним можно делать что хочешь, и вот, видимо, что-то такое... чего-то не понял... В общем, ужасно, ужасно...»

И тут она запнулась. Сильвия посмотрела на нее с печалью. Ашхен подумала об Изочке и пожала плечами. «Какой пролетариат?.. — спросила Сильвия. — Ну, какой? Какой?..» Ашхен думала, что в Изочке-то, в этой хрупкой, умной, насмешливой, нет ничего пролетарского. А что в ней буржуазного?.. Начиналась обычная мешанина последнего времени. «Что-то ты говоришь какую-то несурезицу», — сказала Сильвия. «Пролетарское, — упрямо процедила Ашхен, — про-ле-тар-ско-е...» — и посмотрела на сестру свысока. «Да, да, — сказала Сильвия послушно, — я понимаю». — «А я не понимаю!..» — подумала Ашхен, негодуя на чертов туман, и вспомнила, как схлестнулись однажды Шалико и Иза по поводу какого-то Гаврилова. «Странно, — сказала хрупкая москвичка, — обожаешь народ, а бьешь Гаврилова... Он что, не народ?..» — «Он не народ, — сказал Шалико, — он сволочь...» — «Интересно, — засмеялась Изольда, — как ты это определяешь?..» — «Это же так просто, — рассмеялся он снисходительно, — кто не с нами — тот против нас, а? Что, Изочка?..» Она демонстративно ахнула: «Как примитивно. Боже!..» А он засвистел что-то знакомое.

В день отъезда Люлюшка повела Ванванча погулять по Тифлису. Они поднимались по улочкам, ведущим к станции фуникулера, и там, на одной из этих улочек, остановились перед высоким красивым зданием с громадными окнами. «А ты знаешь, что это за дом?» — спросила Люлюшка тихо. Он не знал. «Это бывший дом одного миллионера, — у него была фабрика, а здесь он жил со своей семьей... Его фамилия была Бозарджанц». — Последние слова она произнесла таким шепотом, что Ванванч вздрогнул. Смутно вспомнилось, как кто-то произносил эту фамилию. Люлюшка смотрела на него с загадочной многозначительной усмешкой. «Ну и что?» — спросил он с нетерпением. И тут, сделав большие глаза, она ошарашила его: «Этот Бозарджанц был отцом Николая Ивановича!..» — «Так ведь он Попов!..» — чуть не крикнул Ванванч. «Тсс, — прошептала она, озираясь, — он ушел от отца мальчишкой, ну, юнцом... Он не хотел быть сыном буржуя...»

Они воротились домой. Был выходной день. Николай Иванович встретил их улыбаясь. Потом появился Арам Балян — худенький юноша в больших очках. Ванванч уже знал, что он и Люлюшка влюблены друг в друга. Ванванчу разрешалось присутствовать при их беседе, и он, сделав постное лицо, с интересом вслушивался в их будничные диалоги, замирая, пытаясь разгадать их тайну по интонациям и жестам. Он уже знал, что Арама нельзя обижать, потому что он улетит. Так сказала Люлюшка. «Вот так, возьмет и вылетит в окно и улетит...» — «И не разобьется?» — спросил Ванванч, посмеиваясь. «Да нет, улетит, — сказала Люлюшка серьезно, — просто улетит и не вернется, понимаешь?» Он кивнул, но не мог поверить. Ему вспомнилась Жоржетта, затем Леля, но это было все не то, не то...

Он вышел в другую комнату и признался Николаю Ивановичу, что посвящен в его тайну. Николай Иванович рассмеялся и сказал, что не надо об этом громко говорить... большевики

могут не так это понять. То есть я очень уважаю большевиков, ты понимаешь, вот таких, как Ашхен, например, но ведь могут и не понять, могут сказать, что я сын буржуя, и дадут мне по голове!.. И снова рассмеялся.

Все это выглядело странным. «А раньше, когда вы еще жили дома?» — спросил Ванванч. «О, — сказал Николай Иванович, — раньше, ты знаешь, я развлекался напропалую... мы развлекались... У меня были друзья, и мы вечером выходили на Головинский, и там мы такое устраивали... Такое устраивали!.. Мы тогда, — и он перешел на шепот, — презирали пролетариев, ну, глупые мы были, — и он радостно расхохотался, — мы их презирали за хамство, за скотство и уж так старались!.. Однажды в Тифлис приехал пролетарский поэт Василий Каменский, футурист, и мы его встретили на Головинском... Это вы — пролетарский поэт Василий Каменский? — спросили очень вежливо. Он обрадовался, что его узнали, засопел, задрал голову и говорит: да, это я... Ну так вот тебе за это! Бац, бац, бац, бац по щекам! А?.. И он побежал...»

...В Люлюшкиной комнате о чем-то шептались влюбленные. У Арама был нос с горбинкой, черный хохолок над белым лбом и голубые глаза. Он подошел к раскрытому окну и взмахнул руками. «Не улетай!..» — попросила Люлюшка одними губами и посмотрела на Ванванча. «Не надо», — попросил и он. Арам сказал: «Хороший день... так и тянет...»

...На вокзале, перед самым отходом поезда Ванванч сказал сестре не очень уверенно: «Он бы и не полетел... Разве люди летают?..» — «Конечно, полететь он не может, — шепнула Люлюшка, — но может улететь от меня... Ты разве не видел, какие у него руки?» — «Ну и что?» — засмеялся Ванванч. «Он ирокез». — «Да?!» — восхитился Ванванч, втягиваясь в игру. «Кто он?» — спросила Сильвия строго. «Ирокез», — сказала Люлюшка небрежно. «Перестань болтать глупости!.. — крикнула тетя Сильвия. — Что еще за ирокез?» — «Ну, хорошо, хорошо, — сказала Ашхен, — пора прощаться...» — «А какие у него глаза, — шепнула Люлюшка Ванванчу, — ты видел? Видел?..» — и она поцеловала его крепко, по-тифлисски, словно что-то предчувствуя...

...Когда они с мамой вернулись на Урал, в Нижний Тагил, папа встречал их на вокзале. И оставалось до Вагонки всего лишь четырнадцать километров. Их ожидал перед зданием вокзала черный автомобиль под брезентовым верхом, а не привычная бричка. За рулем сидел широкоплечий, грузный шофер, бывший матрос Анатолий Отрощенко. Круглолицый, с мясистым носом и такими же мясистыми влажными губами. Он ловко выскочил из машины и уложил вещи на заднее сиденье. Он делал все ловко и на каждое папино или мамино пожелание отвечал: «Так точно».

В машине, наслаждаясь ее стремительным бегом сквозь тайгу по плотной утрамбованной дороге, Ванванч узнал о больших переменах. Через несколько недель они переедут в Нижний Тагил, потому что папа будет первым секретарем горкома партии. Инженер Тамаркин, оказывается, покончил жизнь самоубийством... «Почему?» — спросил Ванванч с ужасом. «Ну, видимо, боялся разоблачения...» — сказал папа. «Ну, хорошо, хорошо, — сказала мама сердито, — что такое?..» — «А первый секретарь, — сказал Ванванч, — это самый главный?» — «Думай о школе, — сказала мама и дернула его за рукав, — у тебя есть школа...»

И он стал вспоминать школу, и перед глазами вспыхнула береста в жестяной крышке от бачка, и жаркое Лелино плечико вздрогнуло... Потом он вспомнил живого и невредимого Афоньку и побежал к нему, распахнув руки, как истовый тифлисец, и обнимая, повисая на нем, понимал, что уже теперь нет никого ближе этого долговязого, синеглазого, удивленного парня. «А твой Афонька совсем здоров», — неожиданно сказал папа, обернувшись с переднего сиденья, и Ванванч сладко зажмурился, уже не вслушиваясь в дорожный диалог отца и матери.

«А она кто?» — спросила Ашхен. «Я же тебе рассказывал, — сказал Шалико, — маляром работала... Ты представляешь, из кулацкой семьи, а стала такой передовой... просто невероятно». — «И она выступила против Тамаркина?» — спросила Ашхен с сомнением. «Не просто выступила, — сказал Шалико, — она разоблачила Тамаркина и по производству и по

быту». — «По быту?» — удивилась Ашхен. «Ну, знаешь, — сказал Шалико и погладил ее руку, — ну, там всякие интимные дела, оказывается, всякие там грешки...» — «Тамаркин?!» — прошептала Ашхен с ужасом. — «Знаешь, — сказал он, — еще бы немного, и случилась бы в их цеху катастрофа... К этому все шло... После ее выступления начали все проверять... Ну, в общем, началось такое!.. А утром его нашли... он выстрелил прямо в висок... никакой записки... С ним не успели поговорить... Что-то во всем этом такое...» Она покачала головой и шепотом повторяла: «Вай! Вай! Вай!..»

Ванванч попытался в очередной раз вникнуть в их тихий разговор, но это было так далеко, так непонятно, так скучно...

«С ней сначала разговаривал Федя Крутов, — сказал Шалико, — с этой Нюрой... Она загорелась, ну, говорит, я все скажу...» — «Получается, что ее подговорили?» — спросила Ашхен, прищурившись. — «Что значит подговорили? — удивился Шалико не очень уверенно. — Она сама пришла с жалобой... впрочем, черт его знает... Хотя, ты знаешь, теперь, после работы комиссии, действительно многое выясняется... Все не так просто... и саботаж... и письма из-за границы... Тут, знаешь, и меня пытались, что я, мол, просмотрел...» — «С ума сошли!? Тебя?..» — прошипела Ашхен. — «Не знаю, не знаю...» — сказал Шалико.

Он уже работал в Тагиле, в горкоме партии. Уезжал утром, возвращался поздно. В Тагиле ремонтировался дом для нового секретаря, и вскоре им предстоял переезд. А тут еще смерть Лизы. В первую ночь Шалико плакал, не стесняясь, как мальчик. Конечно, здесь, на Урале, горе утрат стушевывалось расстояниями, тайгой... Впрочем, стушевывалось ли? А может быть, именно благодаря пространствам серые глаза Лизы увеличивались до бескрайних размеров, и он ждал от них ответа? «Что же это все значит?» — хотелось спросить ему. Еще долгое время после кончины она, словно живая, сопровождала его, сидела рядом в черной машине, кивала ему из глубины кабинета, особенно тогда, когда его охватывал страх от бессилия.

Тут неожиданно явилась к нему в партком Нюра, как раз тогда, после гибели Тамаркина. Была она в черной юбочке, белой кофточке и красной косынке.

Вошла и с порога сказала: «Вот уж чудеса!.. Тут мне вот подпись ваша нужна... — и вдруг ахнула так по-свойски: — а чего это вы будто белилами вымазанный?..»

Он выскочил из кабинета и прошипел секретарше: «Зачем вы всех пускаете!.. Что за базар?..» Секретарша выдавила с трудом: «Так ведь это та самая... Вы что, не узнали?..» Он подписал Нюре направление в Свердловск на учебу, на политкурсы. Подписал, на нее не глядя. Воздуха не хватало. «Спасибочки, — сказала она и пошла к дверям. Там на миг задержалась. — А мне комнату дали... шашнадцать метров... До свиданья...»

Ей очень шла красная косынка. Пышная грудь под белой блузкой вздымалась соблазнительно. Ее некрасивое румяное лицо было одухотворено новыми счастливыми обстоятельствами. Шалико неожиданно представил их рядом. Нюру и Ашхен, и рассмеялся про себя: сравнения быть не могло. Строгое чеканное лицо Ашхен и ее прекрасные губы с уголками, опущенными вниз, и тихий, неожиданно горячий шепот, предназначенный ему одному... Какие сравнения, генацвале!.. И тут же вспомнил сухощавое строгое, с ускользящей редкой улыбкой лицо инженера Тамаркина и вздрогнул: так не соответствовало оно нашумевшей истории, а эта дрянь, ну, даже если они и спали... зачем нужно было публично... вот дрянь!.. Впрочем, это было жалкое утешение, ничтожное утешение, после работы, проделанной ГПУ. «Неужели это правда?» — подумал он, не глядя на уходящую Нюру.

«До свиданья, — сказала она, — вот выучусь, буду все силы отдавать социализму...» «Вот дрянь!» — подумал он, но еще подумал о том, как успел ее выпроводить, как вовремя, потому что тогда, хоть и была она серенькой и заляпанная краской, но что-то такое бушевало в ней и вырывалось наружу, и редкие белые зубки так опасно выглядывали из-под бледных губ... Неужели все это правда?!

Похороны были бесшумные, загадочные. Тамаркин был одинок. Из больничного морга тело его сопровождал Федор Крутов. Вечером он зашел к Шалико. Они сидели на кухне и долго молчали.

«Она что, провокаторша?» — наконец спросил Шалико. «Ну зачем уж так-то, Шалва Степаныч? — обиделся Крутов. — Нюра девчонка сознательная... Тут этот заходил... из ГПУ. Говорит, что мы Тамаркина проворонили... Целую папку мне показал... А она что?.. Когда на собрании инженера разоблачали, она все и вспомнила про него, все... видишь как...» — «Да она же из кулацкой семьи!» — выговорил Шалико беспомощно. «Да, это верно, — сказал заместитель, — но уж больно активная и, понимаешь, наша, ну, наша, и все. Она чужих за версту чует: сама же из них...» — и рассмеялся.

Ночью Шалико не спал. До того довел себя, что опять увидел Лизу. Мама стояла рядом и прикасалась ладонью к его лбу. «Неужели это правда?» — спросил он у нее.

Этот вопрос так и повис в воздухе на долгие годы. Он, правда, постепенно обрастал различными оттенками, ну, например: «Неужели это стопроцентная правда?», или: «А если все же так надо, то до какого же предела?», или: «А действительно ли партии это необходимо именно в таких формах?», или: «А все-таки партии это необходимо или отдельным лицам?»

Ашхен усмехнулась, но все как-то по-служебному: губы кривились, и глаза были холодны.

Они вернулись на Вагонку, все как будто бы установилось, но папа и мама продолжали перебрасываться какими-то таинственными словами, что-то подразумевая, к чему Ванванч не мог приблизиться. И вот, пока они скрывали от него обреченные лица, Ванванч перед переселением в Тагил отправился в умирающее августовское тепло прощаться, прощаться, прощаться со ставшим уже привычным пространством уральской тайги. Она была изрыта, и уже возвышались кирпичные и бетонные гиганты, готовые вот-вот приняться за дело. Гордость за новый поселок, видимо, перелилась из крови папы в его кровь, и он думал, что нигде в мире не умеют так строить и создавать такие цеха и такие бревенчатые школы, где учатся дети простых рабочих. Он спрашивает маму: «А могут люди говорить все, что они думают?» — «Конечно, — улыбается мама, — ведь мы живем в самой свободной советской стране». — «А если кому-то не нравится советская страна?» — спрашивает он, скоморошничая, лукавствуя, затеявая игру. «Но это же невозможно», — смеется мама, и лицо ее вытягивается. «А если? А если?..» — «Ну, значит, это враг», — говорит мама и всматривается в него, прищурившись. И это так просто, и он вздыхает с облегчением.

Он идет по кое-где уцелевшей траве, ступает по укатанному гравию и думает, как он встретит Афоньку Дергача и бросится к нему — милому, доброму, беспомощному, как потифлисски обнимет его и прижмется к его груди, к тому месту, где чернела роковая дырочка от пули...

Проходят дни, и вот уже скоро переезд в Нижний Тагил. Август на исходе. Папа ранними утрами отправляется на место новой работы. Возвращается он поздно, и Ванванч его почти не видит. Он не видит его озабоченного лица и не слышит его прерывающегося шепота, когда они беседуют с мамой. И жизнь для него прекрасна, и это последнее августовское солнце господствует в мире, даря благополучие.

Так прекрасно шляться по будничной Вагонке, по знакомым местам, по тайге, а вечерами погружаться в приключения Робинзона Крузо или придумывать строчки и воображать, как ахнет бабуся, услышав эти вдохновенные восклицания, и не пушкинские, а его собственные, не «мороз и солнце — день чудесный...», а «пушки гремели, выли снаряды, мы все шагали на баррикады...» И рифмы счастливая музыка вдруг вспыхивала в нем. Он будет писателем. Он напишет роман о китайских коммунистах, потому что, как говорит папа, это так просто: китайские коммунисты хотят, чтобы китайские рабочие жили хорошо!..

Он ходит по Вагонке и почему-то думает не о Леле, а о далекой Жоржетте, об этой предательнице с черными бархатными глазами, изменнице, и тоска переполняет его сердце... И неизвестно, где искать Афоньку Дергача. Он прочитает ему свое стихотворение, и Афонька скажет, тараша синие глаза: «Вот здорово, мать твою!.. Ух ты!..» Федор Крутов говорит: «Афонька твой жив-здоров и на стройке ударник, во как! Будь спокоен...» А Афонька скажет:

«Ну, ты меня совсем было убил... Кровь текет... эх, думаю...» А Ванванч скажет: «Афонька, ты мой самый любимый друг!.. Ты просто замечательный герой...»

Так незаметно он очутился возле Дворца культуры. В этот момент широкие двери его со скрипом распахнулись, и повалила серая шумная толпа. Ванванч понял, что кончилось кино или собрание. И когда эта толпа рассеялась, он увидел Афоньку...

Афонька медленно спускался с крыльца, и был он все в той же знакомой серой рубашке навыпуск, как тогда, перед смертью. «Вот!.. — мелькнуло в голове Ванванча. — Вот он... Афоня!..» — «Афонька!..» — крикнул он и, расставив руки, побежал навстречу другу. Побежал, побежал и уже изготовился обхватить его, и выкрикивать нелепые, подогретые любовью слова, и прижаться к тому месту, где чернела недавно зловещая дырочка... «Ух ты, мать твою...» И они сошлись, и тяжелый костлявый кулак Афоньки врезался в лицо Ванванча...

Ванванч упал и замер. Так он пролежал с полминуты. Поднялся, дотронулся до носа. Нос был чужой. Рука была в крови. Вдалеке виднелась сутулая спина медленно уходящего Афанасия Дергачева.

12

В Нижнем Тагиле на улице Восьмого марта стоял кирпичный одноэтажный дом. Какой-то купчишка построил его для себя в давние времена. Теперь в нем жил первый секретарь горкома партии. Он пригласил к себе горкомовского завхоза и сказал ему: «Вы там будете обставлять дом, смотрите, чтоб никаких штучек и финтифлюшек. Как у всех. Понятно?» Завхоз кивнул оторопело. И в дом въехали казенные предметы, все с металлическими бирками. И что же? Началась райская жизнь. Ванванч обстоятельно обставлялся тоже. Во-первых, у него впервые появилась маленькая, но своя комната; во-вторых, он, оказывается, жил в бельэтаже! Бельэтаж звучало как Эдем. Ах, это был не просто какой-то там первый этаж, ибо внизу располагался полуподвал, где проживал дворник Блохин. И это был не банальный второй, а именно — бель!.. И хотя мебель была старая канцелярская, увешанная металлическими казенными бирками, но было здесь все, что нужно.

В самой большой комнате — стол посередине и диван у стены. Невиданный доселе радиоприемник «ЭЧС-2». По нему можно было слушать даже радио «Коминтерн» из Москвы. И когда в Москве выступал Сталин, все собирались вокруг этого волшебного ящичка и, замирая, вслушивались в космическое потрескивание и голос далекого вождя. И папа тогда сказал: «Какое изобретение! Сиди себе дома и слушай Москву!..» А после наклонился к Ванванчу и шепнул ему: «Товарищ Блохин хотел послушать. Скорее зови его». Дворник Блохин сидел на стуле рядом со всеми и тоже слушал и теребил бороду. Однажды он сказал Ванванчу во дворе: «Я раньше у купца Малинина в дворниках служил. Хрен бы он меня радио слушать позвал бы... Видишь как...» — «Конечно, — сказал Ванванч, польщенный, — мы же большевики». — «Ну», — подтвердил дворник.

Был еще папин кабинет со стареньким диваном, с небольшим письменным столом и канцелярским шкафчиком, в котором стояли книги. Дальше по коридору размещалась маленькая комнатка, в которой устроился счастливый Ванванч. У него была железная кровать с никелированной грядущкой, маленький стол и маленький шкафчик, а в нем — его книги. Еще была комната для бабуся с такой же железной кроватью, а еще — спальня с двумя такими же кроватями для папы и мамы, и у окна — облупившийся гардероб. Этот гардероб служил давно и многим, но все забыл, и душа его была мертва. Впрочем, это никого не беспокоило.

В конце коридора располагалась большая кухня с громадной кирпичной печью и с плитой на ней. Угол кухни занимал объемный дубовый чан, в котором хранились запасы питьевой воды. По утрам приезжал водовоз, и Блохин заполнял чан мутной водой из городского пруда. Бабуся бросала в воду щепотку квасцов — через час вся муть оседала на дно. Ванванч никаких несовершенств не замечал. Он плотно закрывал дверь своей комнаты, садился за стол, доставал

лист чистой бумаги и мелким аккуратным почерком заполнял каждый лист. В день по листу. Так он решил. Роман был из жизни китайских коммунистов.

Название придумалось без промедления: «Ю-шин доброволец». Герой был похож на Афоньку Дергача, обиды на которого не было. Что-то пронзительно синее клубилось в раскосых глазах Ю-шина, когда он смотрел сквозь прицел винтовки на скрюченные фигурки японских оккупантов.

Постепенно он привыкал к новой школе. Это было добротное четырехэтажное здание, пахнущее свежей краской. Был просторный класс, украшенный портретами вождей, географической картой и живой Сарой Мизитовой, чьи розовые щеки и слегка раскосые татарские глаза отвлекали Ванванча от науки. Взаимное расположение вспыхнуло с первых же дней. Она сидела на первой парте и время от времени оборачивалась и, как-то из-за плеча, всматривалась в Ванванча. Он ждал этого и подмигивал ей незаметно. Розовое на ее щеках пунцовело, она опускала глаза и отворачивалась. Этот ритуал становился традиционным. Когда Сара болела и отсутствовала, жизнь для Ванванча теряла всякий смысл. Героиня его романа Динлин краснела точно так же и так же была стройна и боготворила Ю-шина.

Однажды на уроке истории они впервые услышали о том, что в древности татары нагрянули на Россию. И тут же весь класс с любопытством уставился на Сару Мизитову. Она сидела пунцовая. «В чем дело?» — спросила учительница истории. «А Мизитова тоже татарка!» — брякнул Саня Карасев. «Что за глупости, — сказала учительница строго, — я же говорю: в древности!..»

Помнится, тогда Ванванч пожалел Сару, но и восхитился. К ее изящному обаянию прибавился еще и этот флер. И он принялся подмигивать ей с двойным усердием.

Дома он открылся только бабусе. «Вай! — воскликнула она по своему обыкновению. — А как же Леля?» Он ничего не ответил, и бабуся предложила ему пригласить Сару зайти к ним. Он пригласил, но она не захотела. Однажды вечером, когда он сидел в своей комнате, в окно тихонько постучали. Он выглянул — внизу стояла Сара. Заглянуть в комнату она, конечно, не могла: это же был бельэтаж, но ее ручка дотянулась до стекла, и раздалась волшебная музыка. Он успел крикнуть бабусе, что пойдет погулять, и скатился с крыльца. Они пошли по улице Восьмого марта и по улице Ленина, мимо деревянного цирка, мимо гостиницы, и Сара вдруг сама взяла его за руку. О чем они говорили? Сейчас не вспомнить. Может быть, о Тифлисе, а может, и о классовой борьбе, или об Арбате, или о Робинзоне Крузо... На Саре было черное пальтишко из старенького плюша и синяя шапочка с тесемками под подбородком. Он слышал ее шаги. Они звучали рядом. Все было как в сказке.

Когда же он, проводив ее, воротился, мама встретила его на пороге, вскинув изумленные брови. Растерянная улыбка на ее лице казалась неестественной — так это на нее не было похоже. Он почему-то подумал, что его ждет сюрприз. Он подумал, что, может быть, пирожное, и хорошо бы с заварным кремом, подумал он. «У нас пирожные?!» — спросил он. «Какие пирожные?» — не поняла она и продолжала разглядывать его, словно видела впервые.

Он сидел у себя в комнате, отложив на время математику и географию к завтрашнему дню, и писал продолжение романа. Ю-шин и Дин-лин шли по шанхайской улице, и она держала его за руку. Они должны были вскоре расстаться, потому что ему предстояло отправиться, наконец, в партизанский отряд. Она всплакнула. У старого шанхайского деревянного цирка они попрощались. В комнату заглянул папа. Он хитро улыбался. «По-моему, ты занят уроками...» — сказал он. Ванванч пожал плечами. «По-моему, — сказал папа, — ты корпишь над математикой... — И добавил: Завтра мы пойдем с тобой покупать книги».

Был выходной день. В книжном магазине толпились покупатели. Директор магазина провел их за прилавок, в комнату. Там тоже были полки, уставленные книгами. Директор указал Ванванчу на левый ряд и сказал: «Это, мальчик, детские книги...» Ванванч не знал, что ему делать. Папа сказал: «Выбирай, что тебе нравится...» и принялся рыться среди книг для взрослых. Ванванч тотчас нашел «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Гулливера» и спросил, почему

они не стоят в самом магазине. «Там этого ничего нет», — сказал папа. «Почему?» — удивился Ванванч. «Это же так просто, — сказал папа, — пока хороших книг на всех не хватает...»

Они набрали книг. Папа расплатился, и, довольные, они направились к дому. Дом был близок. «Вот тебе уже двенадцать лет, — сказал папа. — Целых двенадцать!.. Ты совсем взрослый, Кукушка, — а потом как бы между прочим, — да, как зовут девочку, которую ты вчера провожал?» Это было сказано невзначай, легко и просто, поэтому Ванванч ответил, словно говорил о давно известном: «Сара», — сказал он. — «Ооо, — присвистнул папа, — какое волшебное имя!..»

Был праздник, какое-то его подобие, было что-то такое возвышенное и озаренное в этот день: и этот случайный и неожиданный поход с папой, и книги в красивых обложках, и непринужденный мужской разговор.

Дверь им распахнула мама, однако лицо у нее было вовсе не праздничное, оно было помертвевшее, пальцы ее дрожали, когда она брала книги у Ванванча, но он не придал этому значения: он привык к тому, что жизнь взрослых проходит мимо него. У бабуси были заплаканные глаза. Он поспешил закрыться в своей комнате, принялся разглядывать покупки, но голоса продолжали просачиваться сквозь двери, не слова, а только музыка — нервная, переполненная тревогой, несовместимая с его удачами... Он едва прислушивался к ней, по обыкновению не очень-то вникая в ее тайный смысл, так и не обучившийся еще недоверию к собственному благополучию. Это напоминало звук тифлисской зурны за окном — изощренный, пронзительный, многоголосый, тягучий, но одновременно горький и возвышенный. И вот он слушал вполуха, но не видел, как Шалико прикоснулся к руке Ашхен, как некогда в прошлом, когда она лишь только впервые возникла перед ним, такая юная, строгая, ни на кого не похожая, такая затаенная, и как она внезапно улыбнулась ему, ему!.. Вот это было чудо!.. Потом это все мгновенно погасло, но наваждение осталось. И он прикоснулся к ее руке, и она не отвела своей.

Вот и теперь он точно так же прикоснулся к ее руке, надеясь смягчить ее боль, растерянный от навалившегося ужаса. В кресле тихо плакала Мария, тихо-тихо, чтобы не долетело до Ванванча. «Бедный Миша, — прошептал Шалико, — как же это могло случиться?..» Ашхен сидела, окаменев. Она тоже никак не могла осознать происшедшего: как это могли прийти и арестовать такого кристального коммуниста, этого рыцаря революции!.. Что-то произошло, какая-то грязная тифлисская интрижка... «Хорошо, что мама этого уже не узнает», — сказала она, представляя, что было бы с Лизой. «Она все видит, — сказала Мария, — Лиза оттуда все видит, и сердце ее разрывается, а ты что думаешь?.. Все видит...» — «Мама, мама, — сказала Ашхен с возмущением, — ну, о чем ты говоришь!..»

В этот момент пальчик Сары стукнул в оконное стекло. Ванванч заглянул в большую комнату. Все были там. Там расплывались клубы беды, чего-то очень непривычного. Он не захотел погружаться в них. Это было не его, не его. Он сказал: «Я пойду погуляю...» Они в ответ как-то странно пожали плечами, и всё, и он вышел.

«Бедный Миша, — сказал Шалико, — я уверен, — сказал он безнадежно, — это недоразумение». Он сказал это, хотя в письме Коли было четко и жестко сказано, что это начало крупной акции и что все они были бельмом на глазу у бывшего семинариста, так он писал, подразумевая самого Сталина. «И я не уверен, — писал Коля, — что этим все ограничится. Я очень боюсь за Володю, который со свойственной ему откровенностью режет правду-матку на всех углах. Держись, генацвале... Мама все-таки счастливая...»

Шалико погладил Ашхен по руке и вдруг подумал о том, что теперь все это — и их жизнь. А скольких они разоблачили здесь, на Урале, подумал он, скольких мы разоблачили!.. Какое-то помешательство!.. А ведь тогда, когда разоблаченный ими враг отправлялся искупать свою вину, не так ли сидели его домашние в своих беззащитных гулких комнатах, ломая руки и предчувствуя новые беды?.. «Что? Что? — подумал он. — Что случилось?!» Еще вот только вчера, объятый вдохновением, он готовил свою речь на городском партактиве, речь с разоблачениями очередного троцкистского двурушника, он кипел ожесточением, он подыскивал простые, понятные, доходчивые, убийственные слова, клеймящие отщепенцев. Он докладывал

в Свердловск о проделанной работе и слышал в ответ всегда одно и то же — негодующие, угрожающие восклицания, потому что страна и партия охвачены троцкистским заговором, а вы там, у себя в Тагиле, бездельничаете... А может, и вы там, у себя... Может, и вы сами...

Завтра он должен произнести еще одну речь.

Ашхен сомнениями не терзалась. Она поклялась себе не распускаться, стойко выдержать этот нелегкий период, да, нелегкий, легко ничего не дается, это уже доказано, и поэтому нечего хлопать крыльями и причитать... Но когда из письма Коли стало известно, что Миша арестован, она поняла, что начинается самое главное, и уж тут-то необходимы и мужество, и сила воли, и вера, и пренебрежение чувствами.

Она с внезапным недоброжелательством вспомнила, как в Москве Изочка с интеллигентской неряшливостью бросила ей: «Скоро вы все переарестуете друг друга». И при этом состроила пренебрежительную гримасу, будто это могло быть предметом шутки. Вспомнив это, Ашхен поежилась — и не от угрожающих пророчеств московской подруги, а оттого, что любила ее именно за утонченность и интеллигентность... А тут вдруг эта фраза!.. А Иза сказала со свойственным ей прямодушием: «Ты, Ашхеночка, закусила губку не потому, что со мной не согласна, а потому, что ощущаешь некоторый противный резон в моих словах. Не правда ли, Ашхеночка? Ну, признайся, признайся, дорогая... Нет?.. Нет?.. Впрочем, как знаешь».

Мария тихо плакала, ничего не понимая.

А Ванванч плыл с Сарой Мизитовой по вечернему Тагилу. О чем они говорили, не помню. Впрочем, может быть, о цирке, мимо которого проходили. Ванванч там бывал. Его водила мама на соревнование борцов. Это были настоящие силачи. Это было международное первенство. Борцы съезжались со всех стран, чтобы помериться силами именно здесь, в Нижнем Тагиле. Они были хорошо известны публике, и за их схватками следили, затаив дыхание. Любимцем был Бено Шааф. Это был самый молодой из борцов. Прекрасный немец, никогда не проигрывавший. Шпрехшталмейстер, объявляя борцов, которых все знали и бурно приветствовали, делал маленькую паузу и торжественно восклицал: «Бено Шааф! Германия! Чемпион мира!.. Прямо с мирового первенства приехал к нам!.. В Нижний Тагил...» Что тут начиналось. Господи Боже! Ведь не в Париж, не в Лондон, не в Москву, а прямо в Нижний Тагил!.. Некоторые не верили. Ванванч сам слышал, как над шпрехшталмейстером подтрунивали. Но он верил. Он не хотел сомневаться.

Были и другие гиганты: например, негр Франк Гуд из Америки; толстый, низкорослый и злой Циклоп из Греции; Василий Ярков — непобедимый самородок с волжских берегов; Михаил Боров — ученик самого Ивана Поддубного, и многие другие. Обычно боролись строго по времени. Но иногда объявлялась бессрочная до результата. Это было самое захватывающее. Циклоп всегда проигрывал и сильно злился, что вызывало смех. Его презирали за самонадеянность и истеричность, и когда он проигрывал, цирк сотрясался от хохота. У каждого из борцов были особые признаки, и если несчастный Циклоп был знаменит истериками, то есть он, проиграв, катался по арене, бил по ковру кулаками и пытался укусить рефери, то Михаила Борова знали как мастера мертвой хватки, а любимец Бено Шааф поражал всех своим умением освободиться из любых клещей и тут же с помощью двойного нельсона бросить соперника на лопатки.

И вот они прогуливались возле цирка. Из его деревянных недр вылетали аплодисменты, музыка и крики... Ванванч вспоминал, как они с мамой приходили на представление, мама протягивала контролеру коричневую книжечку, и контролер расплывался в улыбке, кивал, звал кого-то, обернувшись... Их сопровождали в ложу, и они сидели на мягких стульях, отделенных деревянным барьером от остальной публики, которая разглядывала их с откровенным интересом. Нравилось ли Ванванчу быть за барьером? Мама была строга и пасмурна, она старалась не смотреть по сторонам и шепотом говорила Ванванчу, тыча пальцем в барьер: «Какая глупость, правда? Что это они придумали какую-то глупость!..» Но Ванванч не успевал осмыслить сказанное. Вспыхивала музыка, и все сливалось в предвкушении волшебства... А сейчас он подумал о том, что хорошо бы было показать все это и Саре.

...Жизнь продолжалась. Уже был близок новый, тридцать седьмой год. Ванванч чувствовал себя взрослым. В мае ему предстояло отметить свое тринадцатилетие.

Однажды после школы он по пути зашел к Сане Карасеву. Отец Сани был металлургом. Он был хозяин доменной печи. Саня обещал показать Ванванчу новую рогатку. Они подошли к старой черной избе, поднялись по скрипучим гнилым ступенькам, распахнули такую же дверь, и Ванванч замер на пороге. Сизый туман клубился по темной комнате. В нем плавали, колыхаясь, большая русская печь и деревянный стол, и за столом — человеческие фигуры. Из большого чугунного горшка, стоящего на столе, вырывался пар.

Звякали ложки о миски. Было обеденное время. Было душно. Ванванч проглотил слюну. Саня быстренько разделся, достал с полки рогатку и протянул Ванванчу. Ванванч принялся ее рассматривать, а Саня ловко уселся за стол и потянул к себе тарелку со щами. За столом сидели двое: бородатый старик и мужчина в спецовке. На Ванванча почти не обратили внимания. Только женщина у печки хмуро сказала Сане: «Чего сам-то уселся, а товарища бросил!..» Саня тотчас оборотился к Ванванчу: «Ну, давай садись же, чего стоишь-то?..» — «Нет, спасибо, — сказал Ванванч, — мне идти надо». — «Надо, так иди...» — сказал мужчина в спецовке и принялся за щи. Ванванч собирался уже выйти, как Саня сказал ему, подмигивая: «А дед наш тюрю любит!..» — «А как же, — усмехнулся дед, — хорошее дело». И изумленный Ванванч увидел, как дед накрошил в миску хлеба, затем лука, посолил и залил все это водкой из бутылки, и спиртной запах тотчас потек по комнате. Затем он крякнул и принялся есть это ложкой. Мужчина сказал: «Эх бы мне такую тюрю!..» — «А чего ж? — спросил дед. — Кто не велит?» — «Мне в смену идти, — сказал мужчина, — у нас это строго».

Вдруг туман рассеялся. Ванванч увидел черные бревенчатые стены, маленькие тусклые окна. Женщина скользила от стола к печке. Ванванч подумал, что у него дома все совсем не так: и чисто, и светло, и «ЭЧС-2», и книги... Он положил рогатку на крышку бачка и сказал: «До свидания». — «Ну как рогаточка?» — спросил Саня. «Хорошая», — сказал Ванванч, выходя. За спиной крякал дед, звенели ложки. Запах щей и водки потянулся следом и долго не отставал. Он рассказал маме об увиденном. Она поморщилась и сказала: «Ну, что ты, это была не водка... Наверное, постное масло...» — «Нет, нет, — сказал Ванванч, — я видел...» Она пожала плечами.

В их классе на стене висел знаменитый лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Теперь, когда он вчитывался в эти звонкие слова, перед ним возникала темная изба Карасевых — известных в Тагиле сталеваров, и какая-то печальная несурязица поселялась в его голове. Кончилось тем, что и отец Ю-шина, известный китайский сталевар, померк и превратился под пером Ванванча в знаменитого токаря. Затем он поведал Саре об увиденном, но она не удивилась, только улыбнулась, как всегда, загадочно и снисходительно. Это его почти утешило.

Но оказалось, что это еще не все. Оказалось, что неприятности ходят парами. Тут же добавилось маленькое происшествие, суший пустяк, который почему-то уже не забывался. Стоило Ванванчу воротиться с «неудом» домой, как тотчас к нему в комнату заглянул бесцеремонный папин шофер, захавший на минуту с каким-то поручением. Отрощенко. Заглянул и спросил по-свойски: «Ну, как дела?..» А Ванванч в этот момент крутил себе в чашке по бабусиному предписанию гоголь-моголь из двух желтков и уже готовился проглотить себе в утешение первую ложку, как возник шофер. «Что крутишь?» — спросил Отрощенко, наклонив голову. «Гоголь-моголь», — сказал Ванванч и приблизил ложку к самому рту. «Это что ж, кушанье, что ли? — спросил гость с интересом. — А ну, дайка...» И вожденная ложка направилась к его рту. Толстые влажные губы шофера раскрылись, втянули в себя золотую снесь, высосали ее всю, большой язык вылизал остатки, и эту облизанную ложку оторопевший Ванванч опустил в чашку, зажмурился... «Ну, давай теперь ты, — сказал Отрощенко, — ух, хороша гогель-могель!» — «Я потом», — сказал Ванванч, отставляя чашку. Бабуся ахнула, когда час спустя увидела нетронутое лакомство. Ванванч соврал, что ему расхотелось... И ведь помнилось, долго помнилось, до сих пор помнятся эти жирные, толстые, слюнявые губы, этот красный язык, вылизывающий ложку!

После школы он садился за роман. Действие развивалось. Ю-шин расстреливал кривоногих японцев из пулемета и тосковал по Дин-лин. Затем Ванванч принимался за уроки, но математика ему не давалась. Все казалось чужим, непонятным и ненужным. Учительница смотрела на него с ужасом, щадила, пока не взорвалась. «Я вызову твоих родителей, — сказала она, втягивая голову в плечи, — представляю, как огорчится твой отец!» — «Не вызовешь», — подумал он с внезапной наглостью. Геля Гуськова, первая ученица в классе, вызвалась ему помочь. Она старательно объясняла ему хитросплетения математических тонкостей и улыбалась, исполненная добра и приязни, но все было напрасно. Ученики расходились по домам. И Сара уходила... Выходя из класса, бросала на него украдкой настороженный взгляд, а он сидел, уставившись в назидательный палец Гели, которым она водила по отвратительным цифрам, словно укоряла его в бессмысленности собственных стараний.

Никогда, никогда, никогда, думал он, ничего не получится. Я не смогу этого понять, думал он, да это никому и не нужно... Он словно осиротел. Он был один в этом мире, где все умели решать задачи по математике: и Геля, и Сара, и Саня, все, все, кроме него. Там, у них, была другая счастливая жизнь, а ему предстояло идти домой и прятать глаза, и страдать, страдать, страдать...

И он подумал, что теперь уже все равно, и когда ему поставили очередной «неуд», воспринял его как заслуженное возмездие.

А между тем еще недавний праздник, который сопровождал его дома, как-то незаметно сходил на нет, и хотя он все еще старался жить в своем собственном мире, непривычный душок бедствия настигал, просачивался в дверные щели... Эти печальные суровые лица, этот прерывистый шепот, и слезы на щеках у бабуся, и дорогие тифлиссские имена, произносимые с дрожью в голосе... Все больше о Мише, о Мише... «Ты помнишь дядю Мишу, Кукушка?..» О, он не забыл!.. «Какой он хороший, правда?..» — «Ну, конечно, папочка...» И папино застывшее лицо, и убегающий взгляд.

Вдруг днем принесли телеграмму. Дома никого не было. Он прочитал. Она была из Тифлиса. «Коля и Володя уехали к Мише целую Оля». Он положил телеграмму на тумбочку и подумал, что они, наверное, уехали в санаторий... Однако вечером, когда все сошлись, новая телеграмма лихорадочно запрыгала из рук в руки, а позже из-за двери потекла все та же странная музыка из слез, шепота и случайных междометий. Ванванч засыпал трудно. Умение отрешаться постепенно оставляло его.

Может быть, от этого всего, от этого сумбура, от непривычной и чуждой ситуации с ним стали твориться странные вещи, словно он потерял голову и стал поступать вопреки себе самому... Словно бес обуял его, маленький, бесшабашный, нижнетагильский бес, расхристанный и наглый. И, подчинясь его внушениям, Ванванч начал совершать поступки, которые еще вчера показались бы ему полным безумием. Началось это с пустяка, еще в начале ноября, когда днем явился посыльный из горкома партии и вручил бабуся фанерный ящик с гостинцами к празднику. «Этто что такое?!» — удивилась щепетильная бабуся. «А это к праздничку, — сказал посыльный, — всем работникам горкома... Такое решение...» Когда он ушел, Ванванч приподнял крышку ящика. «Не надо, цават танем, — дрожащим голосом попросила бабуся, — до папы не надо». Но Ванванч уже заглянул внутрь и ахнул. В ящике соблазнительно разлеглись давно позабытые оранжевые мандарины, две плитки шоколада «Золотой ярлык», бутылка армянского коньяка, и все это было пересыпано грецкими орехами и конфетами «Мишка», и из ящика вырывался такой аромат, такой аромат!.. Ванванч потянулся было к конфете, но бабуся резко отодвинула его и закрыла крышку. «Но это же мне... это же нам принесли!..» — возмутился Ванванч, но она была неумолима.

До вечера он не находил себе места. Он негодовал на бабуся и представлял, как медленно сдирает кожуру с мандарина и прокусывает кисло-сладкие подушечки, и захлебывается соком, а затем разворачивает конфетную обертку и вонзает зубы в коричневую шоколадно-вафельную хрустящую массу и жует, жует все вместе, и глотает, захлебываясь, и снова тянет руку за новой порцией...

Гнев отца был внезапен, на высокой ноте. Он слышал, как папа звонил в горком и раздраженно выкрикивал, выговаривал кому-то за этот сладкий ящик... Как могли додуматься!.. Я еще выясню, кто это!.. Почему горкомовским работникам, а не в детский сад?! Я вас спрашиваю!.. Требую!.. Спрашиваю!..

И вскоре прибежал посыльный из горкома, и драгоценный груз безвозвратно исчез вместе со своими ароматами. «Он поступил, как настоящий большевик!..» — приблизительно так оценил Ванванч поступок отца и восхитился, но обида оставалась.

Когда бы был он уже взрослым, он бы крикнул в сердцах и в отчаянии: «Да пропади все пропадом!..», но он был маленький, двенадцатилетний, зависимый мальчик.

Так, после уроков, в один январский день неведомая сила повлекла его в школьную канцелярию, и на виду у благоговееющей бухгалтерши он позвонил на конный двор горкома партии и сани, горкомовские сани, предназначенные для его отца, потребовал прислать к подъезду школы. Он медленно спускался по лестнице, медленно шел к выходу. Ноги у него дрожали, и внезапная тошнота подкатила к горлу. Он вышел на школьное крыльцо. Сани уже стояли на положенном месте. Лошадь была неподвижна. Кучер, закутанный в тулуп, — тоже. Увидев все это, он даже решил незаметно улизнуть — пусть потом выясняют, кто вызывал, но подошел к саням и взгромоздился на сиденье, и подумал, как жаль, что никто из учеников его не видит, что Сара не видит... Коснеющим языком назвал адрес. Кучер оглянулся через плечо, внимательно взгляделся в него и кивнул. И поехали. До дома было каких-нибудь триста метров. Он знал, что теперь не оправдаться, но бес распоясался безобразно. Дома никого не было. Сани растворились в январском морозце. Хотелось плакать и есть.

Он решил покаяться перед отцом и сказать ему что-то вроде того, что бес его попутал, но это лекарство ему, двенадцатилетнему, не было знакомо. Хотелось есть. Дома он отрезал кусок черного хлеба, намазал его маслом, покрыл сверху тонким слоем томата-пасты и посыпал солью и уселся в своей комнате с книгой в ожидании бури. Она разразилась вечером. У папы было перекошенное лицо. Он говорил тихо, с горечью, страдая... но лицо! И слова вырывались из него неудержимо, одно за другим, без пауз и передышки... «Мой сын?! Это мой сын?! Сын большевика?! Пионер... хочет выглядеть, как буржуйский сынок!.. Ты что, купчик молодой?! Ты понимаешь, что это мерзость! Мерзость!.. Как ты мог?.. Что скажут мои товарищи!..»

«Что за девочка, с которой ты дружишь? — спрашивала мама. — Это она учит тебя таким вещам? А?..»

Ванванч решительно замотал головой, ограждая Сару. «Коранам ес!..» — причитала бабуся. Казнь была долгая и страшная. Он раскаивался. Он заплакал. «Вот черт, — сказала мама, — как все одно к одному!..» Он не понял смысла этого восклицания.

Хорошо еще, что была на свете Сара Мизитова! Стройная фигурка этой девочки, ее серое платьице с белым воротником... эта голубоглазая татарочка с гладкими черными волосами... Даже когда она обувалась в большие валенки с широкими раструбами и оттуда выглядывали ее тонкие ножки, которые тогда казались еще тоньше, — даже тогда она была прекрасна! И даже неуспехи в математике и недавно возникший бес не могли отравить его жизнь. И все сильнее и сильнее обуревало его желание повести Сару в цирк. На вечернее представление! Не на дневное в выходной день с клоунами и жонглерами, где толпы таких же, как они, дурачков, хохочущих и суетливых, а вечером — быть среди сдержанных знатоков, заносящих дрожащими руками в списки борцов победные крестики...

Он уже все продумал и все рассчитал. Когда он, наконец, сказал ей о своем намерении, она восприняла это как большой праздник. Она всплеснула руками, и он увидел вдруг, как сверкнули ее узкие глаза... Какая была вспышка!.. Ему захотелось сказать, что ее радость вдохновляет и даже окрыляет его, сказать что-то такое... Но он не умел формулировать чувства.

Они договорились идти под выходной. В этот день, как всегда, она коснулась пальчиками оконного стекла. Он был готов. Он крикнул бабусе срывающимся голосом, что идет погулять, и, заливаясь краской, скатился с крыльца.

Еще днем после школы он пробрался в папину комнату и легко извлек из ящика стола коричневую книжечку. Бабуся долго посматривала на него, слегка приподняв брови. Но не было сил признаться. Стыд одолевал, но перед глазами маячило восторженное лицо Сары, и ничто не могло его укротить. «Не опаздывай, балик-джан!» — только и крикнула бабуся вслед. Ее безнадежное напутствие растворилось в ранних сумерках.

Они протиснулись сквозь гудящую толпу ко входу, к знакомому контролеру. Ванванч не знал, как поведет себя нынче этот всегда столь гостеприимный человек, и на всякий случай нахмурился и напрягся. Но все обошлось. Коричневая книжечка, словно волшебная птичка, перепорхнула из рук в руки, помахала крылышками, и они очутились в ложе. Он посмотрел на Сару как мужчина, как кавалер, как рыцарь... Она пылала. Она еще ни разу не была на вечернем представлении...

Второе отделение началось, по обыкновению, с грохота оркестра, с парада борцов. Пары начали сходиться. Ванванч наслаждался борьбой. Вдруг почему-то вспомнились поникшие лица домашних. Свет на мгновение померк, восторженный гул замолк, но лишь на мгновение. И тут же все засияло вновь. Здесь был иной мир, полный чудес и волшебных превращений, а там... а там... у них... дома...

Циклоп, как всегда, проиграл. Миша Боров принимал поздравления. Франк Гуд сиял зубами и раскланивался с изысканностью менестреля.

Когда они вышли из цирка, была уже половина двенадцатого. Они быстро направились к дому Сары и по пути восторженно вспоминали минувшее представление. Но вот за Сарой захлопнулась калитка, и Ванванч побежал к своему дому. Теперь он был один. Город замер. Он заторопился. Представление померкло, и он понял, что придется держать ответ. Маленький бес внезапно скрылся, покинул его, и Ванванч остался в одиночестве, беспомощный и беззащитный, наедине со своей виной. Он вспомнил, что сегодня должно было состояться собрание литературного кружка в редакции «Тагильского рабочего»! Это его немного приободрило: конечно, он был на литературном собрании и читал там свои стихи, и его хвалили...

Все окна дома были освещены. Он взбежал на крыльцо и позвонил. Дверь тотчас распахнулась. Бледная мама в бумазейном халатике возникла на пороге. Правая ее рука почему-то была заложена за спину. «Где ты был?!» — хриплым голосом спросила она. «Я был на литературном кружке...» — выпалил он. «Литературный кружок, — произнесла она ледяным тоном, — кончился в семь часов... А сейчас час ночи!..» — «Ну, пока я шел... — пролепетал Ванванч, — шел, шел...» И тут рука мамы вырвалась из-за спины, она почему-то сжимала тапочку или шлепанец, а он тут же вспомнил тифлисское наименование этой обуви: чуста, и этой чустой мама, размахнувшись, ударила его по щеке, выкрикнула что-то отчаянное и пошла, пошла от него по коридору, забыв о нем...

Он уже лежал в постели, укрывшись с головой, когда пришла бабуся с какой-то едой. Но он так и не вылез из-под одеяла.

...Минул январь, и бес затих, куда-то запропастился. А Шалико выступил на городском партактиве и заклеил, как планировалось, шаткую и небольшевистскую позицию Балясина. Балясин обуржуазился, утратил принципиальность и проявлял терпимость ко всяким антипартийным настроениям. В газете «Тагильский рабочий» было помещено это грозное выступление и фотография выступающего Шалико. Ашхен считала, что он был слишком резок. Она вспоминала тучного, насмешливого, доброго Балясина и думала, каково ему сейчас... Нет, нет, наверно, думала она, в принципе Шалико, конечно, прав, но чрезмерная резкость вызывала к критикуемому преступную жалость.

Из Тифлиса долетали страшные вести, но чем они были страшней, тем неистовее и ожесточенней выкрикивал свои истины Шалико, и она не могла с ним не соглашаться. Да, нас усыпили некоторые успехи, думала она, и мы обленились и утратили бдительность... Мы даже дошли до того, думала она, поджимая бледные губы, что смотрели на бесчинства окопавшихся троцкистов сквозь пальцы... А они распоясались, думала она. От этих мыслей гудела голова,

прихватывало сердце, и обыкновенное житейское неблагополучие уже не доходило до сознания. И она долго не могла понять Шалико, который поздним вечером твердил ей о новом тифлисском происшествии... «Что? Что? — переспрашивала она. — При чем тут Оля?.. Что такое?..» — «Очнись! — прошептал он с отчаянием. — Олю и Сашу взяли!.. Ты слышишь, Ашо-джан, ты слышишь?..» — «О чем ты? — не понимала она. — А Сашу за что? Он ведь не был в партии!..» — «Взяли, взяли!.. Ну, что это значит?.. Взяли!.. Ты можешь это понять?..» Сашу, подумала она, взяли, видимо, как бывшего деникинского офицера... В этом даже была какая-то логика: уж если избавляться... «А при чем Оля? — спросила она. — Она же больна! Она жена крупного поэта...» Шалико машет рукой обреченно и видит, как он идет по улице Паскевича и входит в дом и поднимается на второй этаж. Там, в прохладной комнате, за большим овальным столом сидят все и улыбаются ему, и Лиза говорит: «Шалико, как хорошо ты выглядишь!..» И пока Ашхен нашептывает ему свои безумные вопросы, он снова идет по улице Паскевича и входит в квартиру, где никого уже нет, только юный Васику, Васька, согнувшись сидит у окна...

«Послушай, — вдруг произнесла Ашхен совершенно спокойно, — происходит что-то, чего я понять не могу... Не могу, и все».

Утром они, как обычно, отправились — он в горком партии, она к себе в райком. Как обычно. И на следующий день — тоже.

Восьмого февраля Ванванч в утреннем зимнем полумраке добрал до школы. Как обычно. До уроков оставалось минут десять. Он вошел в класс. Маленькая Геля Гуськова сидела за партой и листала книгу. Она машинально оглядела его и как-то резко уткнулась в страницы. Дежурный стирал с доски. Сары не было. Ванванч вышел в коридор, в сумятицу и неразбериху. Вдруг какой-то маленький плюгавый второклассник затанцевал перед ним, скаля зубы, и завизжал на весь коридор: «Троцкист!.. Троцкист!..» И пальчиком тыкал Ванванчу в грудь. Ванванч задохнулся. Это его, сына первого секретаря горкома партии, называли этим позорным именем?! Это в него летело это отравленное, отвратительное слово?!.. Он бросился на подлое ничтожество, но мальчик ускользнул, и тут же сзади раздалось хором: «Троцкист!.. Троцкист!.. Троцкист!.. Троцкист!..» — гремело по коридору, и обезумевшие от страсти ученики, тыча в него непогрешимыми, чисто вымытыми пальцами, орали исступленно и пританцовывали: «Троцкист!.. Троцкист!.. Эй, троцкист!..» Он погрозил им беспомощным кулаком и скрылся в классе. Сердце сильно билось. Он хотел пожаловаться своим ребятам, но они стояли в глубине класса вокруг Сани Карасева и слушали напряженно, как он ловил летом плотву... Девочки сидели за партами, пригнувшись к учебникам. Начался урок. Его не вызывали. Сара не оборачивалась, как всегда, в его сторону. Когда, наконец, закончилась большая перемена, он понял, что произошло что-то непоправимое. Наскоро запихал книги в портфель и перед самым носом учителя выбежал из класса. В коридоре уже было пусто. Путь был свободен.



Шалва Окуджава, 1936

Мама почему-то оказалась дома. Он подошел к ней и сказал, собрав последнее мужество: «Я не буду ходить в школу!..» — «Да?» — произнесла она без интереса. Она была бледна и смотрела куда-то мимо него. «Мама, — повторил он еле слышно, — меня дразнят троцкистом... Я в эту школу не пойду...» — «Да, да, — сказала она, — наверное... Послезавтра мы уезжаем

в Москву...» Что-то рухнуло. Пыль и пепел взметнулись облаком. «А где папа?» — спросил он с надеждой. «Папу ненадолго вызвали в Свердловск, — сказала она как-то безразлично, — он потом тоже приедет к нам... в Москву...» И тут она неожиданно попыталась ему улыбнуться, и эта жалкая улыбка так не соответствовала ее потухшим глазам. И она ушла, втягивая голову в плечи, словно Ванванча и не было. Он увидел на столе газету «Тагильский рабочий». Никогда он не читал газету, но, видимо, она так удобно разлеглась на столе, так была откровенна, что два заголовка сразу бросились в глаза «Враги подожгли трансформаторную будку», — гласил первый, а второй «Решение бюро горкома ВКП(б)». И тут он узнал, что его отец, Шалва Степанович Окуджава, освобожден от должности первого секретаря горкома за развал работы, за политическую слепоту, за потворствование чуждым элементам, за родственные связи с ныне разоблаченными врагами народа...

Дым отчаяния клубился по дому. Бабуся была в слезах. Мама ничего не замечала. Он ждал по-прежнему стука в окно, но так и не дождался. Следующий день был занят сборами. Он помогал, как мог. Увязали книги. Упаковали посуду. Уложили в чемоданы одежду. Больше ничего не было. Предстояла последняя ночь в Тагиле, а вечером пальчики Сары постучали в окно. Он выбежал стремительно, как никогда. У Сары было мало времени. Она пришла попрощаться. Она торопилась домой. Впервые она разговаривала с ним, опуская глаза, эти голубые татарские глаза... Он кинулся в свою комнату и принялся искать что-нибудь, ну, хоть что-нибудь, что можно было бы подарить ей на память. Увидел стоявший на его столе портрет Сталина, выгравированный на жести, и чернилами вывел на нем: «Саре на память». И лихо расписался. Она приняла подарок, коснулась его руки горячей своей ладошкой и пошла, ловко ступая по сугробам старыми подшитыми валенками.

13

...Все успело забыться за несколько московских месяцев, ну, почти все: и как добрались до Свердловска, как пересаживались в московский поезд, как тряслись в непривычном плацкартном вагоне; и вот, наконец, Москва, и краснощекая от мороза и заплаканная Манечка встречает их на перроне Ярославского вокзала — все это успело забыться. Даже Афонька Дергач с его знаменитой раной, даже Сара Мизитова, даже оскорбительное кривляние тагильского второклассника. Все. Почему-то помнилась лишь случайная встреча у служебного входа в тагильский цирк, о которой Ванванч, потешаясь над собой, рассказывал маме время от времени, чтобы пробудить улыбку на ее бледных губах — пусть жалкую, пусть отрешенную, пусть даже притворную...

А случилось вот что: в день отъезда из Нижнего Тагила он кинулся попрощаться с цирком, и судьба вознаградила его за верность. Из служебного подъезда внезапно вывалились три его кумира: Василий Ярков и две заморские знаменитости — Франк Гуд и Бено Шааф! На Ванванча они не обратили внимания. Топтались у дверей, одетые по-зимнему, — в шубы и валенки... «Да ладно, мужики, — вдруг произнес Бено Шааф, — чего это мы здесь-то топчемся? Сговорились ведь к Валюше, в столовку. Ну, так пошли...» — «Идем, идем, кто ж против? — засмеялся Франк Гуд. — Пока у нее никого нет, надо иттить...» — «Эх, Валюша, — сказал Бено Шааф мечтательно, — может, у нее и пивко найдется...» — «Раз обещала, значит, будет», — сказал Василий Ярков, и они отправились, оставив потрясенного Ванванча.

Ну, анекдотец, и все, пожалуй. Крушение иллюзий всегда болезненно. Все это еще предстоит, предстоит в будущем. А тогда он шел домой, вытирашив глаза и мотая головой, не веря тому, что слышал, и снова что-то рухнуло, взметнув пыль, и настала будто бы иная жизнь и освобождение от чего-то. В поезде он вдруг вспомнил это и принялся рассказывать маме, и сам хохотал, слегка утрированно, лишь бы увидеть ее улыбку. Она и в самом деле пошевелила губами, чуть растянула их на одно мгновение...

Помнился ярче всего этот анекдотец, и он его сразу же выложил ребятам во дворе. Посмеялись. Все заметно повзрослели за два года. Они приняли его в свой круг легко,

натурально, ни о чем не расспрашивали, хотя и догадывались, и слышали из уст вездесущей молвы, знали, знали, тыкали пальцами в окна арбатского дома, где тоже случилось... ну, тоже ночью увезли... вон там и там, и оттуда... Ну, ночью — а когда же, днем, что ли? Да нет, тихо, раз-два... а утром будто ничего и не было...

Быт здесь и так никогда шикарным не был. Он и теперь в Москве не очень-то отличался от прежнего. По-прежнему по утрам манная каша и чашка чаю. После школы бабушка кормила его обедом, ну, что-нибудь привычное, какой-нибудь рисовый супчик и картофельные котлеты или покупные микояновские котлетки, иногда винегрет. Приходила Манечка, приносила пару пирожных или пакетик с халвой... Мама мелькала, словно тень. Ванванч знал, что ее исключили из партии и она устроилась счетоводом в какую-то инвалидную артель. Однако самолюбие Ванванча было не столь уязвлено, как можно было бы предположить.

Манечка грустно смеялась и сулила скорые счастливые перемены. И Ванванч как-то внезапно стал своим, и от него теперь уже не было секретов. Его словно взяли за ручку, за пухлую, вялую, зависимую ручку и ввели в иную жизнь, которая тут же стала его собственной. Не надо было притворяться дурачком, огражденным от житейских забот. Все разделилось поровну и справедливо. Он числился, как ни горько это было осознавать, сыном врага народа, но минул шок, и он научился понимать, он внушил себе, что с его прекрасным отцом произошла ошибка и скоро это все утрясется.

И мама говорила о том же скороговоркой, и бабуся с густой армянской печалью. Он знал теперь, что многие знакомые и даже друзья не посещают их дом и обходят его стороной, потому что боятся за свою репутацию... И он презирал их. Лишь Манечка со своим новым мужем Шурой Андреевым да Иза со своим Борисом Поршневым как ни в чем не бывало заглядывали к ним.

Кстати, о Шуре Андрееве. Он возник из Вязьмы. Стал в Москве инженером связи и познакомился с Манечкой. Как она предпочла милому застенчивому Алеше Костину этого уездного гиганта — не нам судить. Она попыталась объяснить это Ашхен и сказала, посмеиваясь: «Ну, с Алешей мы были друзьями, да и сейчас остались, а с Шурой — это любовь!..» И сказала это так, словно взошла еще на одну ступеньку. «Бедный Алеша», — сказала Ашхен без осуждения. Ей не очень нравился этот высоченный, почему-то наголо бритый молодой мужчина, насупленный, преданно глядящий на Манечку, этакий голубоглазый римлянин с провинциальными российскими манерами. Впрочем, было не до манер. Шура выбился в люди, нашел Манечку, оттолкнул Алешу, прописался в Манечкину коммунальную комнату у Павелецкого вокзала. Сдержанно, но с уважением выслушивал Манечкины рассказы о ее семье, о братьях-революционерах, и когда его знакомые спрашивали, кто же теперь его новые родственники, он разъяснял спокойно: «Очень, видите ли, крупные грузинские коммунисты...» — «Да?!» — «Да, да», — говорил бесстрастно. И он вошел в их семью, стараясь не очень-то распространяться о своем купеческом происхождении; нет, не скрывая его, не таясь, а просто не неся откровенного, легкомысленного вздора. Да, он вошел в их семью, но еще не погрузился в нее и не успел толком насладиться своим новым положением, как вдруг все рухнуло.

И вот он сидел перед растерянной Ашхен и молчал в глубоком недоумении. Он продолжал обожать Манечку, но что-то как будто померкло, такой большой и крутоголовый, он почему-то казался беззащитным, да и все они были беззащитные и беспомощные теперь.

Почему-то теперь все разрушалось.

Сразу по приезде в Москву узнали, что умерла Настя. Она умерла тихо, похоронили ее также тихо и незаметно. И остались после нее сущие пустяки: иконка, несколько баночек с домашним вареньем да заграничная фотография незнакомой красивой барышни с приписочкой на оборотной стороне: «Милая няня! Посылаю привет из PARIS. Мне карашо PARIS с мой папа и мама. Я учус эколь и не хочу приезжат опять Москва. Зачем? Смешно. Обнимаю тебя, милая няня. Твоя всегда Жоржетт».

И это теперь не повергло в трепет. Барышня была чужая, чужая, словно персонаж из сказки. Фотография досталась Ванванчу, но вскоре затерялась в московском водовороте.

Потом из Тифлиса докатился слух, что после ареста Оли Галактион и вовсе запил беспробудно, а тут его, словно в насмешку, наградили орденом Ленина. Он ходил по Тифлису с этим орденом, громко разговаривал с Олей и плакал...

Ванванч знал, что мама собирается пробиться к какому-то высокому начальству и все объяснить о папе. Он знал, что жить им теперь почти не на что. Он знал, что из всей семьи грузинского Степана остались только они с Манечкой да Васико в Тифлисе. Он знал, что они живут не на мамину зарплату, потому что ее не хватает, тетя Сильвия помогает, да Манечка с Изой, как могут. Вот и суп, и картофельные котлетки...

Теперь он знал все, и не было нужды скрывать от него правду, жалеть ребенка... Какой уж ребенок! Он узнал уже, как рождаются дети, и поэтому по-новому глядел на Нинку Сочилину при встрече, и два бугорка на ее груди были пухлые, упругие, горячие, эти самые... которые хотелось поместить в ладонь и посмотреть ей в глаза...

Он, сын врага народа, проводил школьные часы, как в тумане, испытывая чувство вины перед остальными счастливыми. Однако постепенно выяснилось, что судьбы многих схожи с его судьбой. Он торопился домой, но бабусины причитания были невыносимы, и душа рвалась во двор, где домашние несчастья тускнели и никли. А тут еще Нинка, длинноногая и насмешливая, и свойская, и откровенная с ним, как с подружкой. Когда же он со двора уходил домой и дверь лифта захлопывалась, он преображался, и из лифта выходил почти совсем взрослым человеком, обремененным свалившимися на семью заботами. К счастью, форма, в которую были заключены его душа и тело, оказалась податливой, почти каучуковой, и она, хоть и болезненно, но приспособилась все-таки, приноровилась, притерлась к новым обстоятельствам. Даже Ирина Семеновна, не замечавшая его раньше, открывая входную дверь, не поворачивалась спиной безразлично, а оглядывала его по-новому, с удивлением. Однажды, войдя, он сказал ей: «Здравствуйте...» Впервые. Машинально. Этой напряженной и недоброжелательной соседке. «Ой, какой культурный!..» — сказала она, не то насмешливо, не то растерянно, а после он слышал, как она говорила бабусе на кухне: «Ваш-то совсем большой стал: эвон, как сам здоровается...»

Время летело быстро. Уже начало казаться, что счастья никогда и не было, а было всегда это серое, тревожное, болезненное ожидание перемен. Где-то здесь, за ближайшим поворотом. Внезапно пришла от папы открытка, взбудоражившая их. Первая весточка *оттуда*. «Мои дорогие, все складывается хорошо. Скоро мы встретимся. Непременно. Обнимаю и целую. Шалико».

Теперь Ванванч постепенно перестал относиться к слезам бабуси и к окаменевшему лицу мамы как к чему-то постороннему. Эту замусоленную в многочисленных руках открытку Манечка прочла, и губы ее задрожали, но она сказала: «Вот увидишь, все будет хорошо!..» Ванванч вновь попытался рассказать смешную историю с тагильскими борцами, но никто не смеялся.

Они все теперь были на равных; и мама при нем в который уже раз сказала: «Не понимаю, что делать... не понимаю и не знаю... Куда-то наверное, надо идти... это ведь, наверное, какой-нибудь свердловский перегиб, а, Маня?..» Маня сказала: «Знаешь, Ашхен, сиди и не рыпайся... что ты, в самом деле!.. Ну, чего ждать?!» «Живые же люди, Маня...» — «Коранам ес, — сказала бабуся, — что же это с нами происходит? Почему это все нам?.. Почему?.. Что?.. Что!..» — и стукнула кулаком по колену. Тут Ванванч сказал с суровым видом: «Мамочка, большевики никогда не впадают в отчаяние, ведь правда? Ты ведь большевик?.. Ну, мало ли, что исключили какие-то дураки... Ведь правда?..» Манечка нервно расхохоталась. «Я пыталась зайти туда, — сказала Ашхен, — зайти и поговорить, убедить их... Но никто не принимает...» — «Куда туда?» — спросила Манечка. Ашхен глазами указала в потолок. «Не рыпайся, я тебе говорю, — сказала Манечка, — сиди тихо...»

Ванванч спускался во двор и пытался себе представить папу в тюрьме, но ничего не получалось. Папа сидел на траве над шахматной доской и протягивал ладонь к очередной фигурке, узкое его запястье выгибалось, и фигурка соперника взлетала в воздух... Мат!.. Он всегда побеждал.

И все-таки во дворе становилось легче. Тут бушевали иные страсти, их грохот сотрясал землю, но это был возвышенный грохот, а не томительное, почти безнадежное домашнее увядание. Шла гражданская война в Испании, все было пронизано сведениями о ней, в мыслях о ней растворялись изможденные лица мамы и бабуси, их глухие голоса. Республиканцы наступали. Унылое лицо генерала Франко с большим кривым носом маячило в карикатурах всех газет. В школе на полит-минутках рассказывалось, как отступают фашисты. Да, да, и немецкие наемники! И итальянские!.. Народ-то был не за них. Испанский народ был за коммунистов, потому что ведь коммунисты...

Вот они сидят на лавочке во дворе после школы — и Нинка, и ее брат Витька-кулак, и Петька Коробов, и Юрка Холмогоров, и все о войне, о войне... Петька Коробов — счастливчик! Его, кривоногого, взяли в ансамбль «Веселые поварята». Оказалось, что он прекрасный танцор. В белом поварском фартуке, белом высоченном колпаке он выделял такое, что публика неистовствовала. Под занавес ансамбль исполнял хором известную песню «Эх, хорошо в стране советской жить!..» Но Петька не чванился, не задирает нос, и Ванванч любил его.

Двор пропах шашлыком и жареным луком. Этот запах вытекал из окон ресторанной кухни. Вход в кавказский ресторан был с Арбата, а окна кухни дышали во двор.

Однажды, вдоволь посмеявшись над генералом Франко, приблизились они все к кухонному окну и увидели, как колдует у плиты старый повар-грузин в белом колпаке и несвежем фартуке. Вот они видят, как он подходит к окну, наливает в стакан вино из бутылки и, утерев пот со лба, разом выпивает это вино... Потом подмигивает ребятам и отходит к плите. «А чего ж нам не налил?!» — смеется Петька. И тут же снова подходит к окну повар и снова наливает полный стакан, и ставит его на подоконник, а сам торопится к плите. Они приблизились к самому окну, разинув свои красные, пересохшие рты... «Ну, давай!» — говорит Петька, и Витька хватается своей синей ручкой стакан и опрокидывает его в рот, и истошно орет, и кашляет, и отбегает прочь... Повар хохочет и грозит пальцем, и кричит:

«А ты хотел вино? Да?.. А уксус не любишь? Да?..»

Через несколько дней им удастся взять реванш. Повар их не видит и ставит на подоконник дымящуюся жаровню, в которой покоится вспухшая, подрумяненная утка. И уходит к плите. «Ну, давай!» — шепчет Петька Ванванчу и притоптывает кривыми ножками. У Ванванча столбняк. Он смеется, потому что это шутка, но холодок проходит по спине. Витька глотает слюну. «Ну, давай!..» — подталкивает его Петька. Повар занят своим делом. Нинка тяжело дышит. Витька хватается утку за лапку, и их уже нет, словно смыло. Они уже в лифте. Чердак. Пыль. Запустение. «Да не дергайте!..» — шипит Витька и загораживает утку, и сам первый, первый... как бы ее ухватить?.. И вонзает желтые зубки в гузку... Тут все начинают рвать утку и раздирают ее, и чавкают. И Ванванч, вдруг освободившись от сомнений, хватается крылышко. Так легко на душе!.. Вот они закончили лакомиться и присели на грязное чердачное бревно. Витька закурил папироску. «У, дурак!» — осуждает его Нинка. «А иди ты, знаешь куда? — огрызается Витька. — Нажралась и помалкивай!..» — «Подумаешь, — смеется Нинка, — ворюга сопливый!..»

...Да, время летело быстро. Оно всегда стремительно в преддверии чего-то главного. А ведь и вправду, предчувствие скорых перемен, добрых, именно добрых, значительных, неминуемых, возбуждало и лихорадило. Так не может продолжаться вечно. Внезапно оказался разоблаченным славный чекист Николай Ежов. «Какая сволочь! — ахнула Ашхен, и щеки ее впервые за год порозовели. — Что он натворил!..» Она бросилась в справочную НКВД на Кузнецкий мост, приготовившись к известию о полной перемене, но ей вновь пролаляли в окошечко о том, что Шалва Окуджава сослан на десять лет без права переписки!.. Она поняла,

что до перемен еще не дошло. «Фу ты, черт! Фу ты, черт!» — повторяла она многократно, не зная, как быть, куда идти, кого просить... Месяц прошел в пустых ожиданиях счастливой весточки от Шалико. Затем произошло событие, которое сначала оценила только она. «Мама, — сказала она Марии привычным шепотом, — ты представляешь, теперь вместо этой сволочи будет Лаврентий!» — «Какой Лаврентий?» — не поняла Мария. Потом вдруг до нее дошло. «Вай! — ахнула она. — Тот самый?.. Это хорошо?..» — «Откуда мне знать, — сказала Ашхен, — во всяком случае, он знал Шалико». — «Ашо-джан, — сказала Мария, — он не очень симпатичный...» — «Эээ, мама!.. — воскликнула Ашхен, словно это воскликнула Сильвия. — При чем это?! Я должна с ним встретиться. Пусть он выяснит...»

Она вновь обрела стремительность и непреклонность. Она была почти прежняя Ашхен, которую нельзя было свернуть с пути или остановить. С чьей помощью, каким образом ей удалось добиться своего — мне неизвестно. Какие удочки она забрасывала, кому и что нашептывала, какие бесшумные стрелы направляла в цель — осталось тайной. Теперь она видела перед собой Лаврентия, того, тифлисского, не очень надежного, скрытного, в пенсне, как в маске, но у которого что-то такое вдруг, бывало, проскальзывало, вдруг возникало, что-то такое человеческое — на восковых щеках, в маленьких глазах, что делало его на мгновение похожим на всех остальных. О, надежда — загадочное божество, которое всегда рядом до самого конца!..

Она поделилась с Изой. «Не верю, — поморщилась Изольда и посмотрела на пылающую Ашхен, и спохватилась, — впрочем, все может быть, Ашхеночка... Конечно... А почему бы и нет?..»

Конечно, думала Ашхен, Бога нет, как воображают несчастные неудачники, но если бы он был, если бы он и впрямь существовал там, где-то, в недоступных сферах, прозорливый, вечный, озабоченный человеческой судьбой и справедливостью, если бы он был, он бы, несомненно, помог ей встретиться с Лаврентием! «Если бы ты верила в Бога, — сказала Мария как бы между прочим, как бы в шутку, — ты бы сказала: Господи, помоги мне... И он бы, может быть, и помог...» — «Перестань, мама! — прикрикнула Ашхен в отчаянии. — Не мучай меня!..» И отвернулась от матери и, зажмурившись, прокричала в душе, глубоко-глубоко: «Господи, помоги мне!..» — и тотчас залилась краской.

Через несколько дней случилось чудо: ей пришло уведомление на служебном бланке, в ответ на ее заявление, что народный комиссар внутренних дел примет ее в назначенное время!

И она вновь воскресла. Мария поглядывала на нее, пряча счастливую улыбку. Манечка по обыкновению сияла и чмокнула Ашхен. Шура Андреев снисходительно молчал, женщины казались ему чрезмерно наивными. Он, конечно, хотел благополучного разрешения этой истории, он думал о Манечке, но не забывал и о себе.

В назначенный день Ашхен вытащила из гардероба свой старый серый костюм. Он оказался слишком широк, и Мария украдкой ахнула: так похудела ее дочь. Но Ашхен не придавала этому значения. Это был недорогой коверкотовый костюм, исполненный в стиле минувших лет. Светло-розовая блузка и черные старенькие туфли вполне с ним гармонировали. Она даже слегка припудрила лицо, особенно — слишком угрожающую синеву под глазами, и вдруг почему-то вспомнила, что когда Лаврентий пришел к ним на Грибоедовскую улицу в Тифлисе, в начале тридцатых, и они вместе праздновали новоселье, она была в этом же костюме. Нет, подумала она, он ничего не сможет сделать, потому что если бы был один Шалико, можно было бы уповать на печальную несурязицу происшедшего, но все, все: и Миша, и Володя, и Коля, и Оля, и Саша!..

Она доехала до центра на троллейбусе и пешком пошла на Лубянку. Она совсем не волновалась, что-то бывшее, железное, возникло в ней, что-то неукротимое и бесстрашное. Быстро дошла. Затем многочисленные формальности в абсолютной тишине, и возникший из этой тишины молодой человек в цивильном черном костюме... а она-то думала!.., учтиво сопровождал ее по ковровым дорожкам и в лифте, и вновь — по коридору. Она совсем

успокоилась и даже представила Лаврентия в наркомовском кресле, маленького, грузного, утопающего в этом кресле, одетого в какой-нибудь нелепый мундир, важного, как это бывает у всех, когда из грязи — в князи... из Тифлиса — в Москву... Молодой человек у двери слегка прикоснулся к ее локтю, направляя, и они вошли в просторную приемную. Было светло, чисто, строго. Секретарша за громадным столом мягко ей улыбнулась. Ашхен уже отвыкла от этих знаков расположения. Она успела подумать об одном, что если они окажутся вдвоем, надо будет, как в старые времена, сказать ему, не придавая значения этим стенам: «Послушай, Лаврентий (вот именно — Лаврентий), мне даже странно убеждать тебя... было бы смешно, если бы ты мог подумать, что Шалико... Какой он большевик, ты знаешь не хуже меня... Тут, видимо, рука этого ничтожества, твоего предшественника... Преступная акция... Ты ведь сам прекрасно все понимаешь...»

Ее пригласили войти в распахнутую дубовую дверь, и маленький, короткошей, плотный Лаврентий, тот же самый, тот же самый, бросился к ней навстречу. «Ва, Ашхен! Ашхен!.. Куда ты пропала?!.. Сколько лет!.. Слушай, куда ты пряталась?! (Как будто забыл, что Шалико из-за него укатил на Урал!) Генацвале, генацвале!..» Она немного оторопела.

Он был в обычном коричневом костюме, слегка помятом. У белой в полоску сорочки был непомерно широкий воротник, на короткой, толстой шее галстук выглядел неуклюже, и его узелок наполовину прятался под воротником. Лаврентий как Лаврентий. В том же посверкивающем пенсне. Всегда ей мало симпатичный, но ведь давний соратник по партии!

Он усадил ее в мягкое кресло. Сам уселся напротив. Она еще подумала, что хорошо бы без пошлых шуточек, но он и не думал шутить. «Вайме, вайме, — сказал он тихо, — что натворил этот мерзавец!..» — «Ну хорошо, что это выяснилось, — сказала она строго, — ты ведь не можешь сомневаться, что Шалико...» — «Как ты похудела! — воскликнул он. — Вайме, вайме!..» — Потом сказал очень по-деловому: «Ашхен, дорогая, навалилось столько всего... оказывается, такой завал всяких преступлений! Так трудно это все освоить, исправить... — внезапно повысил голос, — но мы разберемся, клянусь мамой! Не я буду, если не разберемся!.. — и схватил ее за руку. — А Шалико я займусь завтра же, ты слышишь?..»

Она с трудом удержалась, чтобы не расплакаться, и поэтому резко встала. Он поднялся тоже. Он пошел с ней к двери. «Вайме, Ашхен, кто мог подумать, что мы *так* встретимся...»

Внезапно что-то произошло. Наступила тишина. Секретарша кивнула ей с улыбкой. Молодой человек сопровождал ее до выхода.

Она сразу же отправилась в свою артель и трудилась до самого вечера. Дома, размякшая, улыбнулась Марии и в ответ на ее немой вопрос сказала: «Обещал. Посмотрим. Как будто не врал... Очень возмущался, представляешь?..»

Ночью ее забрали...

1989-1993